



ОЛЕГ РАЗУМОВСКИЙ

ДЖУ-ДЖУ

«УРОКИ РУССКОГО»

18+

Олег Разумовский

Джу-Джу

рассказы | повесть

| уроки русского |
москва
2 0 1 5

Составитель серии Олег Зоберн
Дизайнер серии Антон Тотибадзе

- Разумовский, О.
- P17 Джу-Джу: Рассказы, повесть / Олег Разумовский. — М.: Издательство «УРОКИ РУССКОГО», 2015. — 272 с. (Серия «Уроки русского»)

Эти рассказы и повесть — не только о веселой жизни в городе Смоленске и его окрестностях, но и почти обо всей российской провинции.

«Джу-Джу» — первая тиражная книга Олега Разумовского. Автор родился и живет в Смоленске. Печатался в журналах «Третья модернизация» (Рига), «Митин журнал» (Ленинград), «Черновик» (Нью-Йорк) и др.

Содержание

<i>Предисловие</i>	5
Потап	8
Новый год	13
Три топора	19
Сны и реальность	27
Джу-Джу	31
Скрипач на крыше	37
Мрак	48
Психоз	60
Положительный	65
Элеонора	72
Домик на болоте	82
Бабиничи	90
Чума	95
Затмение	100

Там, где кончается асфальт.....	111
Записки про охотника	117
Надежда	122
Возмездие.....	127
Сычёвка.....	130
Анжело	136
С советским акцентом (<i>повесть</i>)	141

[Книжная серия «УРОКИ РУССКОГО»:

- Анатолий Гаврилов | «Берлинская флейта» (2010)
Дмитрий Данилов | «Черный и зеленый» (2010)
Олег Зоберн | «Шырь» (2010)
Александр Шарыпов | «Клопы» (2010)
Роман Сенчин | «Изобилие» (2010)
Ашот Аршакян | «Свежий начальник» (2011)
Каринэ Арутюнова | «Пепел красной коровы» (2011)
Николай Байтов | «Думай, что говоришь» (2011)
Денис Осокин | «Овсянки» (2011)
Анатолий Гаврилов | «Вопль вперёдсморящего» (2011)
Михаил Новиков | «Природа сенсаций» (2012)
Софья Купряшина | «Видеосмотрительница» (2012)
Егор Радов | «Мандустра» (2012)
Ольга Комарова | «Грузия» (2013)
Валерия Нарбикова | «Равновесие света дневных
и ночных звезд» (2013)
Николай Байтов | «Любовь Муры» (2013)
Николай Байтов | «Зверь дышит» (2014)
Олег Разумовский | «Джу-Джу» (2015)]

| Рассказы Олега Разумовского попадают к широкому читателю с опозданием, но устаревшими они вовсе не выглядят. Наоборот, по сравнению с многоголосым рубежом 80-х и 90-х (тогда тексты писателя стали изредка появляться в журналах) — сейчас их, наверное, сложнее пропустить. Разумовский в современной русской прозе — один из самых необычных рассказчиков, с удивительной небрежностью умеющий передать движением текста ритм странного разговора, забывающейся мысли, аномального дыхания. Он — первооткрыватель для литературы некоторых до сих пор никем не освоенных, но достоверно существующих слоев речи. Он же — кажется, самый пронырливый лазутчик алкогольного сознания на территорию текста со времен Венедикта Ерофеева. Уж точно он первым в русской словесности полностью очистил обсценную лексику от следов манерности и застенчивости — такого виртуозного и убедительного мата не было ни у кого от Алешковского до Пеппертшайна.

В появлении рассказов Разумовского сейчас есть одна проблема: они неизбежно воспринимаются на неправильном фоне «нового реализма» и соседних явлений (ложной подсказкой в этом направлении служит и сотрудничество автора с газетой «Лимонка»). Мир, который описывает Разумовский, — примерно тот же, что, скажем, у Сенчина: загибающаяся про-

винция, в которой каждому встречному хочется дать в морду и, безусловно, есть за что, виновата во всем невидимая нечисть во власти, и единственное здравое отношение — спиться к чертям, чтоб видеть всей этой дряни поменьше. Только у Разумовского социальное недовольство выплескивается не в уныние и даже не в праведный гнев, а в ярость — бесцельную и прекрасную, как пресловутый русский бунт (одно из любимых слов писателя).

Сюжеты многих его текстов похожи на хармсовские «Случаи» — те, в которых бытовая реплика приводит к моментальной кровавой расправе. Но рассказаны эти истории с точки зрения не беспристрастно-ужасающегося абсурдиста, а тех самых Пакина и Ракукина, хорошо понимающих причины и последствия своих странных действий. Разумовский предельно погружен в мир алкогольного делирия и бытового зверства. Он и не думает отстраняться от него, но не потому что другого мира под рукой нет, а потому что он, мир этот, на свой чудовищный лад прекрасен. При всей царящей в них бездвижной беспросветности, в рассказах Разумовского есть парадоксальный, немного платоновский, элемент нежного любопытства к такому несуразному, отчаянному и испитому сознанию — единственной вещи, которая может здесь выжить.

Игорь Гулин

рассказы

ПОТАП

Потап вышел на улицу поздним вечером, когда на черном, как гуталин, небе не было ни одной звезды, кроме той, что носила имя Полынь. Одет он был в тулуп, большие валенки и шапку-ушанку. В зубах торчала папиросина-беломорина. За плечами как бы видится берданка, но ее, увы, не имелось в наличии, врать не буду. Однако в кармане ватных штанов лежал, как обычно, приличный финяк.

Потап нисколько не продрог, несмотря на сильный мороз, совершая свою еженедельную субботнюю прогулку до бани, чтобы смыть всю накопившуюся грязь. Очиститься и как бы родиться заново.

Он шел и думал о проклятой жизни, в которой всякий труженик обобран и ограблен чиновни-

ками, ментами и брателлами. Наблюдал ворон и галок на мрачных лохматых кладбищенских деревьях, но старался думать о хорошем. В голову приходили и светлые мысли: о бунтах, восстаниях и революциях. Вспоминал непроизвольно — умершую от тяжелой болезни жену Глашку и русака зайца, которого он только зацепил из своей одностволки. А тот как даст стрекоча через все поле. Не везло Потапу в последнее время. Он вздохнул и затянулся папиросой до самых глубин легких. «Что за невезуха кругом, — расстраивался Потап, — а не потому ли, что правят нами вечно какие-то черти?» В сердцах он харкнул в какого-то разодетого типа, вылезавшего из иномарки, а тот почему-то только утерся и пробормотал: «Осторожней надо, папаша».

У Потапа злости накопилось на несправедливую власть немерено. Дома, в бараке, построенном еще в тридцатые годы, лежал в гробу сосед его, Мишка, ветеран забоя. Ему вчера оторвало голову куском породы, — он, чудак, в этот момент как раз смешной анекдот рассказывал. Так и осталась улыбка на лице.

Незаметно, рассуждая о плачевой судьбе своей родины, Потап дошел до бани. Она небольшая была и даже вросла немного в землю. Маленькие

окошки закрашены розовой краской, чтобы пачаны не подсматривали, когда бабы мылись по пятницам. Потап купил билетик и прошел в кабинки. Раздевался не спеша, растягивая удовольствие. Вещи прибрал аккуратно в шкафчик, чтоб не спиздили. Рубаху русскую, тканую еще покойницей женой, он особенно не хотел терять. Она дорога ему была как память.

Банщик, Иван Чреватый, мужик шустрый, все рядом терся: не нужно ли чего экстренного? Пивка холодненького или водочки? Он верткий, красномордый, скурвившийся окончательно. Потап, человек с жизненным опытом, мудрый, рассудительный, послал шестерку на хуй. «По совести надо жить», — подумал он. На данном этапе он уже знал, кто виноват и что делать. Не гнилой же какой-нибудь интеллигент, осужденный всем ходом истории на уничтожение. «Только честь и совесть», — мыслил он, тяжело дыша, как в гриппе. Покидая предбанник по скользким половицам, покрытым клочками мокрых газет, Потап важно ступал в банное помещение. «Никакой пощады сукам», — заключил, входя в парную. Париться он любил страшно и мог сидеть в парилке хоть всю ночь. В бане было много людно, и все в клубах пара выглядели не совсем полноценными: безухие, слепые, у кого руки

не было, у кого ноги... Большинству не хватало таза.

Потап в очередной раз вздохнул как бы от страшной усталости. «Довели людей, гады», — подумал с нарастающей злостью.

Некто довольно жирный, хитрый, выёбистый — очевидно, большой начальник — поддавал из кувшина пару и смеялся от души шутке угодливого подчиненного — мойщика. Даже здесь, одинаково голые, эти твари соблюдают субординацию.

Потап недолго страдал от недостатка таза и вскоре вырвал полагающуюся ему по возрасту тару из рук какого-то шустрого малого, во всю ублажавшего супостатов. Видимо, и своим задом тоже. Потап презирал пидорасов и при случае наказывал их по-своему — бил от души. Но этот пачан оказался еще и очень наглым. Стал кричать, что он недавно из Чечни. Дернулся на Потапа, пытаясь набить ему ебалыник, но получил такой отпор, что мигом исчез где-то в темном углу и больше не рыпался.

«Да, потеряли мы наше молодое поколение, — мрачно размышлял Потап, — совратили

его власти, теперь надо заново воспитывать». Посапывая, он набрал в тазик горячей водички, а потом смешал ее с холодной, пробуя пальцем. И для начала облился ею, как учили предки. Набрал воды еще раз так же. Смурные мужики рядом с ним терли друг другу спины мочалками и несли всякую хуйню. Чему-то, бляди, радовались, как идиоты. Смаковали, кто и где отлично отоварился, как наебали кого-то за милую душу и сколько всего себе хапнули. Потапу хотелось надавать им всем по рожам. Кидались ему в голову кипятком и более радикальные мысли, когда хлестал себя конфискованным у буржуя веником. Он все же считал себя потомком Ермака Темофеича и любил хулиганить по-крупному. Осерчал Потап сильно в последнее время на беспредельников. Надоел ему этот бардак под завязку. «ААА! — заорал он вдруг, словно ошпаренный, — СЫРЫНЬ НА КИЧКУ!» И тут же въебал толстому начальнику по голове тазом. Потом схватил мудака за шею и долго бил его головой о скользкую стенку, о цементный пол и о раскаленную печь.

НОВЫЙ ГОД

Наконец наступил Новый год. Оксана Склянкина пригласила меня в гости, чтобы познакомить с родителями. Я очень волновался, даже заикаться слегка начал.

В углу у них стояла елка, обозначая праздник, а перед ней на полу сидела Оксанка, вся нарядная, словно игрушка из универмага.

— Ну, ты в порядке, слушай, — сказал я ей, не смея и подумать, чтобы присесть рядом. Рыжие волосы ее и решительный пробор отразились в зеркале, а за окном капало и капало.

— Какой нынче Новый год без оттепели? — мрачновато заметил ее папаша, водитель грузовика, сидя с газеткой в кресле, дымя папироси-

ной-беломориной. Он был чистокровный русский, спод Ярославля сам, и курил исключительно этот сорт папирос, ну, в крайнем случае «Север».

— Нет, раньше был порядок, которого теперь нету, — продолжал он, — при Сталине я имею в виду».

Я, признаться, не знал, то ли присоединиться к Оксане и украшать елку, то ли пройти на кухню, где уже всем наливали.

— Ты чего такой робкий, парень? — окликнула меня ихняя бабка, и я, как был в фуфайке и без шапки, взял в руки стакан, налитый с краями. Опрокинул, и вмиг меня покинула нечистая сила. Хорошо стало, радостно. Но и досадно немного на Оксанку: она обещала мне наслаждение наедине, а тут целый цыганский табор народу, не считая младшего братишкы, идиота сопливого. И никуда от них не денешься.

Когда опьянял наглухо, я ей все, что думал, высказал с глазу на глаз, при суровом взгляде одного ватного Деда-мороза.

— Тихо ты, — прошептала она, наряженная, вся разодетая, наглаженная, — как напьются все,

пойдем с тобой к Варьке. Знаешь буфетчицу при станции?

Поставили стол в центре комнаты, разложили мандарины, сало, наложили картошки горячей с консервами в томате. Налили всем по граненому стакану белой, а бате как ветерану дали большую алюминиевую кружку. Он рад, кричит «Виват!», пьет за великого полководца Сталина. Я все барак свой вспоминал почему-то и погасшую или нет перед моим уходом печку, поломанную накануне в пьяной драке лавку да рассыпанную по всему полу редьку. Дикость какая-то в голову лезла. Честное слово.

Оксана, казалось, про одно только думала в такую чудесную ночь и чуть не рыдала от рвущих душу предчувствий.

— Смотри, — сколько раз повторяла, почти не закусывая, моя Оксанка, — если только обманешь меня, получишь так по кочерышке, потом всю жизнь арбузными семечками плеваться будешь.

Я гладил ее по затылку, успокаивая.

Наконец встали из-за стола. Включил музыку. Раздали маски. Мне досталась — комиссара с усами, а папаше — кулака с обрезом. Оксанка

получила собачью, братишку ее, дегенерат сопливыЙ, лисичку. Бабка ихняя с нами играть не стала, греясь на печке да считая вполголоса годы, что провела в заточении — за язык свой поганый, понятное дело. Бормотала про какую-то нечисть. А что до мамаши, то она с утра лежала пьяная в хлам в чулане, и неизвестно было никому, когда она проснется и попросит опохмелиться.

В общем, граждане, надели мы маски на свои лица и стали друг другу классово чужды. Собака гналась за лисицей, и, загнав ее куда-то за кулисы, стала рвать на части. Я же выхватил маузер и стал стрелять по люстре, почему-то попадая постоянно в желтый абажур у стены. Батька палил из обреза как ошалелый, без остановки и всякого толка, пока не попал в старуху на печке, которая перевернулась в воздухе три раза и растянулась на полу, поломав свои хрупкие кости. Тогда я, рассвирепев на папашу-мироеда, не целясь, одним метким выстрелом почти в упор, выбил ему мозги. Не успев матюгнуться в последний раз, он свалился прямо на разобранную кровать и больше не рыпался. А от Оксанкиного неразумного братишкИ остались лишь клочки по закоулочкам. Только попугай Кеша, синий и вредный, болтался в клетке, как полуумный. Единственный трезвый свидетель этих странных событий. Он баловался окурком беломорины, считая себя заядлым курякой и умником.

— Теперь вас двоих посадят, — крикнул он и поднес нам с Оксанкой по стакану водки.

Мы выпили не чокаясь, как и положено, когда пьют за покойников. Склянкина включила радиоприемник на всю громкость: было полночь. Мы поцеловались. Пошли танцевать вальс. Мы кружились и хохотали, как выздоравливающие больные, сжимая друг друга в жарких объятиях. Подобно двум туберкулезникам, которых вот-вот выпишут из клиники.

Ее белое платье шуршало, а одной рукой она уже залезла мне за ворот рубашки.

— Ну зачем тебе этот хомут? — спрашивал ее я, страшно волнуясь, имея в виду свадьбу, этот предрассудок темных людей, на котором она почему-то настаивала.

— Чтобы не было в сердце раны после очередного свидания без штампа в паспорте.

И захочотала, как безумная, а после нахмурилась. На меня уставилась.

— Помни, что я сказала, — прошептала тихо и хрипло и неожиданно сорвала с головы парик.

— Господи! — только и воскликнул я, неверующий, увидев абсолютно голый череп, на котором были нарисованы две черные кости и стояли три кроваво-красные русские народные буквы.

В это время очнулась ее мамка в чулане и пристонала голосом убитой бабки:

— Ты, что ль, там, Оксана?

— Я, а кто ж еще? — отвечала лихая девка.

— А с кем это ты, дочка?

— Да с Варькой, соседкой, спи ты на хер.

Я взял тогда Оксану Склянкину в охапку и понес на койку. Споткнулся о мертвую старуху, скинул на пол твердого, как гвоздь, батю. Она билась в моих объятиях и материлась, и проклинала погоду, что не позволяла нам пойти погулять по ночному поселку, покататься с ледяных горок, целоваться на морозе, который розовит щеки, а потом радостными вернуться домой под самое утро. И только синий попугай, — один во всем бараке, может быть, трезвый, вменяемый, — пожелал нам спокойной ночи, когда мы устали от ласк и присели на краешек койки выкурить по папироске.

ТРИ ТОПОРА

Работаю нахуй охранником. Сижу я нахуй-блядь в своей будке на верхатуре и зырю блядь-нахуй по сторонам блядь. То блядь одним глазом в телек — там ёбанаврот пиздятся, удирают, догонают, ловят, пытают, линяют, нахуй, стреляют блядь, убивают, членят нахуй...

Вот вижу, нахуй, подходят к забору две местные тетки, нахуйблядь, и тащат ёбана газовую плиту сдавать блядь на металл. Бабы нахуй тут на раёне вабще нахуйблядь интересные — вроде одеты чистенько нахуй и по местной моде блядь, но нахуй рожи до того блядь нахуй испитые, что кажутся нахуй прям нахуй инопланетянками. Какие-то нахуй розовые, желтые, голубые, зеленые и оранжевые нахуй ряхи блядь. Кричат нахуйблядь мне, чтоб принимал нахуй железо. Одна

еще кое-как на ногах держится, хотя штормит ее неслабо в девять часов нахуй утра, а вторая с фингалами на морде прям падает нахуй после каждого нахуй слова. Почем, мол, блядь нахуй черняшка? Ёбанаврот? Спрашивают. А я не могу нахуй принимать: шеф нахуй в запое, а бухгалтерша блядь, Юлька, собирается рожать нахуй, у нее блядь уже пузо до самых ушей нахуй, и на работу нахуй уже второй нахуй день не выходит и денег блядь нет совсем. Кричу нахуй теткам, что не могу нахуй блядь принять. Те у меня нахуй спрашивают: а как же нам блядь похмелиться? Нихуя борзость нахуй. Отвечаю ёбанаврот, что нихуя не знаю блядь. Не мое дело нахуй их блядь хмелить. Тогда они вабще блядь нахуй совсем охуевши просят: дай ты нам нахуй тридцать рублей. Откуда нахуй, я им отвечаю. Как будто я нахуй тут миллионы получаю нахуй, еле себе на «Три топора» хватает. Ну нихуя себе блядь заявки.

...Нихуя блядь этот который нахуй тока откинулся устроил разборки ёбанаврот и всех нахуй врагов, которые его сдали и подставили замочил из акаэма блядь нахуй... пятнадцать нахуй трупов...

А эти бабы нахуй местные ну блядь борзыые... Тут еще один водила работал, недавно из Чечни

нахуй, Санька нахуй. Пару недель проработал нахуй и ушел в запой. Только нахуй Юльке позвонил нахуй, что отравился консервами, а ночью, часа блядь в два, приходит нахуй и кричит мне ёбанаврот такой весь расстегнутый и растрепанный, мол, блядь нахуй дай мне, орет нахуй, тридцать нахуй рублей. У него нахуй женка помёрла от водки нахуй, и он теперь по всему раёну бродит и ищет нахуй на вино «Три топора», которое тут в каждом ларьке продается. И днем нахуй и ночью блядь. Не дал нихуя нахуй, потому что блядь-нахуй им тока раз нахуй дай, они потом будут приходить просить нахуй и днем и нахуй ночью. Что я блядь нахуй их блядскую натуру нахуй не знаю, что ли, блядь?

Тут, кстати, нахуй в будке столько всякой старой одежды и нахуй обуви осталось ёбанаврот от работяг, которые блядь ушли в запой нахуй и больше нихуя не вернулись нахуй, что можно полгорода бичей одеть нахуй. А хули вынести на улицу и устроить нахуй сэкондхэнд бля все вещи нахуй по пятерке. Тоже нахуй мысль. «Три топора» щас тридцатник нахуй стоит.

...ну, нехуя себе блядь этот ментяра бандюков захуячил... крутняк нахуй...

Часам к одиннадцати пришел нахуй водила Виталик, который вместо этого Саньки нахуй, который нахуй в Чечне нахуй воевал, а поэтому нахуй как шеф блядь говорит, непредсказуемый, и рассказал, что возле танка, где нахуй блядь стоят нахуй минетчицы да еще нахуй недавно нахуй упал самолет блядь и все пассажиры нахуй погибли (потом нам оттуда железа нанесли ужас много блядь), джип нахуй сбил проститутку, которая блядь переходила нахуй дорогу. Сама баба отлетела нахуй метров на двадцать, а туфли блядь остались на асфальте нахуй. Я нахуй предположил, что это нахуй какой-то нахуй чел блядь шкуре отомстил за то, что плохо отсосала или заразила его нахуй. Виталик нахуй согласился и добавил, что на бампере большая вмятина нахуй осталась, так как гнал мужик на большой скорости блядь.

...И тут нахуй эту блядь девку в пизду похитили и требуют выкуп, а она блядь нахуй перегрызла веревки и этих придурков нахуй из их же автомата...

Тока мы нахуй с Виталиком кофе нахуй попили, поднимается в будку нахуй Михалыч. А ёбана нахуй. Давненько мы его не видели. Весь побитый нахуй, исхудавший блядь. И рука нахуй по-

резана. Оказалось, что он пьяный в стекло битое нахуй рухнул мудила блядь. Ну нахуй мужик бля-нахуй полгода в запое нахуй был, и шеф ему нахуй так и не заплатил ёбана, а теперь блядь и сам в запой ушел. Михалыч нахуй взял «Три топора» с горя и нахуярился нахуй, чуть живой уже.

Дёма, который часов нахуй в пять утра приспирся, потому что нахуй девку нахуй сюды кудато в раён ночью провожал, рассказал, что шеф ёбанаврот у себя в доме в деревне Сенная бухает нахуй с Индейцем. Ему Индеец второй этаж строит для бильярдной нахуй. Они уже двадцать бутылок «Три топора» выпили нахуй и блядь заказали нахуй шлюху по вызову. И девка у шефа уже вторые сутки зависает нахуй и уезжать нахуй не собирается блядь. А хуй, денег у шефа немерено нахуй, он меньше сорока тыщ за запой блядьнахуй не пропивает.

...во блядь оборотни скока ментов положили, но после и до них нахуй добрались...

Дёма нахуй допил вино нахуй «Три топора» блядь, которое со вчерашнего стояло, потому что уже тут никто нахуй не мог пить, и пошел спать к сторожевой собаке Титану. С ним, говорит, както теплее. А то он за ночь пока девку провожал

замерз очень да еще ему акамулятор на ногу нахуй упал при погрузке. А если что, у Дёмы с собой завсегда пистолет на всякий случай. Собака этот нахуй, кстати, что-то совсем плохой стал в последнее время, все больше лежит нахуй и все ему блядь похую. Или бегает вот-вот цепь сорвет и лает как ебанутый. Они собаки блядь непредсказуемые нахуй, я лично их блядь опасаюсь.

Тут по телеку показывали нахуй вчера, как собака одну бабу блядь съела, потому что та блядь нахуй за пьянкой перестала ее кормить. Конечно нахуй никто ж Титана не кормит, все бухают почерному, а этой кавказской овчарке жратвы надо дай да нахуй дай. Я сам блядьнахуй боюсь как бы она нахуй меня бля не съела. (Шучу нахуй, хотя нахуй какие там шутки.)

...Нихуя себе нахуй. Этот мент, который с бандитами связан пошел в сауну, а ему там кауфилина подлили в вискарь и положили нахуй в парилку, и он блядь сдох ментяра, потому что он нахуй бандюкам ненужный нахуй стал...

Михалыч нахуй от кофе отказался. Говорит, что врач нахуй запретил, мол, нахуй на сердце блядь плохо влияет. Как будто «Три топора» хорошо нахуй на сердце влияет. Гы-гы-гы. Даже

Виталик нахуй засмеялся. Он нахуй таджик наполовину и мужик нахуй серьезный. Хочет нахуй свой бизнес открывать, но блядь как только денег насбирает, сразу все нахуй пропивает.

Так что, ёбанаврот, делать будем, Михалыч нахуй спрашивает, и сам же нахуй отвечает, что раз шефа нет нихуя, то надо опять пить. Вот как раз и Лёха-грузчик пришел из магазина «Лаваш» с тремя блядь «Тремя нахуй топорами». Мы выпили нахуй и начали разговаривать. Я рассказал как вчера с Андрюхой нахуй съели «Три топора» пять штук, потом еще баклажку «Жигулевского» и после мы еще подкурили травы, и нахуй пошли в парк на русские горки ну блядь ужасы там я ебу нахуй.

Михалыч тему открыл про Гитлера нахуй, почему он нахуй усы не брил нахуй, а потому что боялся нахуй страшно порезаться. Виталик ругался насчет шефа нахуй, что тот постоянно наёбывает нахуй на деньги, и что он скоро отсюда съебёт нахуй на другую работу или свое дело откроет, а Лёха (он злой пацан) после второго стакана на Михалыча нахуй наехал из-за того что тот, когда в Курск ездили на КамАЗе сдавать акамуляторы, ему всю дорогу спать не давал своим пиздежом, а потом облевал кабинку и обоссался. Михалыч,

правда, и у меня в будке сколько раз отключался нахуй. Тогда нахуй не знаешь, то ли железо охранять, то ли за Михалычем смотреть, чтоб он не обоссался.

Так мы нахуй пиздобили, пока голодный Титан нахуй не оторвался и стал бегать по двору, а мы начали его нахуй блядь ловить.

СНЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Мне снился страшный сон, будто я изнасиловал пятилетнюю дочку, потом схватил ружье — застрелил жену и тещу, после чего выскочил на улицу полуодетый и открыл огонь наобум по прохожим, покрыл тротуар трупами. Резко проснулся, как будто мне дали в печень. Сердце сильно колотилось. Весь в поту. Потом припомнил, что никакой семьи у меня на самом деле нет, и несколько успокоился. Выкурил косяк, пошел во двор. А там ребята вовсю гуляют — орут песни, стреляют из пистолетов. Я популярен в своем дворе. Меня приглашают в теплый подвал, угожают самогоном с циклодолом. Там тепло, накурено, шумно, людно. В ход идут колеса, ширево. Самогон. Я блаженно отключаюсь и начисто забываю обо всем на свете.

Проснулся — рядом ни души. Темно и пусто. И, что самое страшное, не могу найти выхода. Долго лазил по грязному лабиринту, пока не отыскал решение — вылез в такую узкую щель, в какую нормальному человеку никак не пролезть. Аж жутко стало, когда на следующий день пришел глянуть, откуда я вылез.

Долго после этого запоя отлеживался у своей знакомой Зиночки Поганкиной. Она отпаивала меня настойкой «Омской» и городила всякий вздор. Баба была явно сумасшедшая. Я знал про нее практически все. Она мне сама рассказывала, как однажды укусила своего мужа на почве ревности. Рана у него потом долго не заживала, гноилась. А однажды ей сказали, что он пошел в гости к одной женщине. Зиночка убежала с работы, все бросила, и подожгла дом этой женщины, с которой спутался ее мужик. Они там только-только за стол сели, перед тем как заняться любовью. В тот раз муж зиночкин каким-то чудом спасся, но она все равно его подстерегла. На каком-то празднике он пригласил на танец одну бабу, а Зиночка схватила со стола большой нож и одним ударом прямо в сердце убила его наповал. Кстати, ее судили, но оправдали.

А Зиночка Поганкина, когда отлеживался у нее, выпила пару стаканов «Омской» и полезла

на меня всей своей мощной массой. Со всеми там сиськами, ляжками и так далее.

— Американцы, слыхал ты, — говорила Поганкина, пыхтя и задыхаясь, — распространяют всякие болезни через свои гамбургеры, которые делают из толченых насекомых. Я недавно жвачкой отравилась. Видишь, сыпь какая по всей морде?

Тут я, чтобы избавиться от приставаний смурной бабы хоть на время, сказал, что мне надо срочно позвонить. Подошел к телефону и снял трубку.

— Алло, это фирма «УЮТ»? — спросил я. — Тут в газете объявление, что вы продаете гильотинные ножницы. Это правда? А сколько стоят? Ни фига себе! Но они же у вас б/у, не так ли? Ладно, приеду посмотреть.

— В Москве сейчас четыреста тысяч тысяч иностранных рабочих, — продолжала городить жирная прыщавая Поганкина, — а у нас самих, прикинь, безработица. Мы для американцев типа рабы третьего сорта...

Я устал, наконец, от нее смертельно. Пошел прогуляться по вечернему городу и в темном переулке повстречал молодого человека прият-

ной наружности. Представилась возможность поговорить о чем-нибудь умном и интересном, после того, как он попросил у меня прикуриТЬ. Мы обменялись несколькими фразами, после чего он, дружественно и призывающе улыбаясь, сказал:

— Играйте хуем, пока молоды.

И стал развивать эту тему: типа у него есть друг, которого он часто трахает в рот и тот так классно заглатывает, — лучше, чем любая женщина.

Кстати, представьте, друзья, я однажды предложил этой дуре Поганкиной взять у меня в рот. Другая сочла бы за честь, а эта кобыла заявляет мне, что она не дурно воспитана. На всю жизнь запомнил при этом ее холодные-холодные глаза и презрительную улыбку. Никогда не забуду это зверски-тупое выражение лица. От этого взгляда, не иначе, мне приснился страшный сон, будто меня забирают в милицию вместе с чеченским генералом Дудаевым. Причем его вскоре отпускают, а меня сажают в камеру. Проснулся среди ночи весь в поту. Сердце скакало, как бешеное. А этот молодой человек, что повстречался мне в темном переулке, он был так хорошо одет, товарищи дорогие, что я просто не мог не дать ему по голове кирпичом, а после снять с него весь модный прикид и пойти гулять дальше.

ДЖУ-ДЖУ

Кондратий Синицын! Страшный тип, как вспомню — вздрогну. До сих пор иногда снится по ночам его ужасная рожа. Ведь это он, сука, пугал меня, подростка, возле морга. Я подглядывал в оконце и видел, как Кондратий кромсает трупы, помогая доктору Бесполову. Вероятно, он также помог ему пропить «Волгу», которую доктор купил после трех лет работы в Эфиопии. Сначала Бесолов разбил ее, катаясь с любовницей, а вскоре запил так, что пробухал все на свете.

Кондратий, я говорю, пугал меня, подкрадываясь сзади и делая зверские рожи. Но я, что странно, не бежал от него, а замирал, словно завороженный. Он же гнал меня отовсюду: от бани, где я смотрел на моющихся по пятницам баб, а он там подрабатывал банщиком, от клуба,

когда я хотел прорваться на танцы (Кондратий был дружинником), чтобы поглазеть на попки танцующих девочек, и с кладбища, куда меня не-одолимо тянуло подроить ближе к вечеру, но у Кондратия был там домик, в котором он ночевал и сторожил.

— Черт задроченный, — бормотал он, прижучивая меня возле упомянутых мест, — подожди, доберусь до тебя, падонка.

Одевался он просто — старая рваная фуфайка на голое тело, замасленная кепчонка, поношенное и выцветшее галифе да кирзачи с пробитой подошвой.

Однажды Кондратий затащил меня в подвал, где имел каморку. Там пахло гнилью и сыростью. Было страшно до ужаса. Он посадил меня на бочку с вонючей капустой и хрипло зашептал:

— Я сам людоед, малый, ты это учти.

И щекотал при этом трофейной большой финкой.

— Привык я, пойми козленыш, во время голодухи. Охотился за людьми, подстерегал их, за-

бивал и ел. За милую душу шла человечина. — И хохотал, как ёбанутый.

Черт его знает, может, он и меня бы съел тогда, но на мое счастье кто-то шел по подвалу с мешком картошки и спугнул Кондратия. Я убежал и долго не мог отойти от страха. Но выводов не сделал. Однажды я прильнул к окошку бани и увидел там Синица с бабой, Шуркой Невзоровой. Он парил ее и рассказывал всякие байки. Оба они были пьяные. Вскоре эта Шурка умерла, подавившись блином на Пасху, выпивая у Кондратия на кладбище.

— После революции, говорю, Шура, — толковал Синицын в бане, — мы в деревне нашей вытащили барина своего из склепа — он там лежал, словно мумий — посадили его, спутатора, под дерево, дали в рот цыгарку и в руку держать бутылку водки. Ох, и смеялись же мы над этой картиной...

Кондратий поддавал пару из кувшина, а Шурка, захорошев от выпитого, визжала, как падла, когда он драял ее веником.

Как-то, заглянув по обыкновению после обеда в оконце морга, я увидел непутевого доктора Бесполова, лежащим в полном отрубоне на лавке,

и Кондратия, стоявшим над трупом. Он запихивал выпавшие из трупа внутренности обратно, частично выбрасывая их в ведро.

Страшный Кондратий Синицын не прекращал попыток затащить меня в свой подвал под церковью, в которой уже давно находился клуб. Там у него, как я уже говорил, имелась каморка. В ней стояла небольшая печка-буржуйка. Ел он из старой и ржавой каски, пил из пробитой пулей алюминиевой кружки. Хлеб и сало резал трофейной финкой, а спал на жесткой лавке, накрывшись шинелькой. В углу мяукала большая черная кошка, а за занавеской стоял злой божок Джу-Джу, привезенный спивающимся врачом Бесполовым из далекой Эфиопии. Возле идола на полу лежали человеческие кости.

Еще я ходил подсматривать к деревянной уборной, в стенах которой имелись щели. Однажды застал там Шурку Невзорову и, наблюдая за ней, был прижучен Кондратием. Он схватил меня сзади за плечи и заорал:

— Ну, что, попался, заморыш, теперь тебе точно пиздец!

Кондратий потащил меня через колючий кустарник, где полно битого стекла и говна, к церк-

ви. В подвале под низкими сводами он зажег фонарик и погнал меня по мрачным переходам. Наконец, мы оказались в каморке, где царил полумрак. Лишь в углу светились глаза злого бога Джу-Джу.

— На колени, ублюдок! — крикнул Кондратий и сильно толкнул меня в спину.

Затем он налил мне полную кружку водки и велел выпить залпом до дна. Дал закусить крутым яйцом. Прямо вбил его мне в рот. Я эти яйца с тех пор терпеть не могу. Я был уверен, что Кондратий решил заколоть меня своей трофеиной финкой — принести в жертву африканскому богу Джу-Дже.

— Что, пацан, страшно? — спросил Кондратий. — Дай-ка я тебя зарежу. Все равно от тебя никакой пользы не будет. Не такое нам надо молодое поколение. Ты, малый, гнилой, порченый.

И он смеялся идиотским смехом. Потом выпил еще водки прямо из бутылки, задрав свою харю перпендикулярно сырым сводам. Прикурил цыгарку от буржуйки и вдруг бросился на меня. Повалил на холодный пол и стал колоть финкой, как поросенка. Только пока что не глубоко.

— Порченый, гнилой, — бормотал он при этом.

Перед тем как окончательно покончить со мной, Кондратий плеснул себе еще водяры в кружку, отрезал добрый кусок сала. Выпил и закусил. А после этого вновь полез прикурить цыгарку от буржуйки, но уже сильно пьяный не удержался и упал рожей в пылающую печку.

Я, истекающий кровью, со всех ног рванул из каморки. Стучало бешено сердце, ноги подкашивались. Я падал в грязь. Но летел, как стрела. Никак не мог найти выход в темном подвале и боялся, что Кондратий или этот страшный Джу-Джу будут меня преследовать. И когда совсем уже отчаялся, увидел бледный свет в конце одного из проходов. Кинулся туда и больше ничего не помню.

СКРИПАЧ НА КРЫШЕ

О нем еще долго вспоминали в деревне Бухалово (кстати, бухать там было уже практически некому) и в смешном, как обрубок, грязно-синем дизеле, прозванном в народе «окурком», в котором Скрипач добирался до упомянутой деревеньки. Да вообще личность эта была известна на всей сашновской железнодорожной линии.

Его считали чудаком с большим, большим приветом, так как он имел обыкновение ходить по вагонам и играть на скрипке собственного изготовления всякие трогательные вещи, а пассажиры — в основном работяги — думали, что надо подавать милостыню, но, конечно же, не давали ни копейки в такое трудное время.

Тупо смотрели в окна пассажиры, где были то зеленые-зеленые, то золотые-золотые, то белые-белые, то все полинявшие, но всегда очень печальные поля.

А Скрипач, между прочим, вовсе и не думал получить что-то: он хотел только смягчать нравы, пробуждать добрые чувства, желал, чтобы труженики задумались о прекрасном, духовном, вечном.

О нем говорили, что оншибко ученый: три института закончил, учился даже в московском университете, из которого его выгнали в свое время за правду. Это было, когда в Москве еще обучались китайские студенты. Очень трудолюбивые, дисциплинированные, экономившие буквально на всем и все лишнее отсылавшие на родину, помогая, таким образом, своему социалистическому государству. Вплоть до знаменитых событий, во время которых крестьяне с той стороны, оболванные маоистской пропагандой и настроенные соответственно хунвейбинами, стали подходить к нашей границе и показывать голые жопы. Так они демонстрировали свое крайнее неуважение к бывшему старшему брату.

Но и наши не лишиены были остроумия. Однажды, как только китайцы начали свой гнусный ри-

туал, на советской стороне поднялся огромный, сшитый из множества половых тряпок портрет председателя Мао. На том все и кончилось.

* * *

— Хороший ты человек, Скрипач, но слишком добрый, мягкий, нельзя так в наше трудное время, — говорил музыканту дежурный по станции Самсон — небольшого роста мужичонка, тощий и кривоногий, а если пьяный, то вообще похожий на таракана. — Пропадешь ведь и очень скоро, как пить дать, — предупреждал он Скрипача, ожидающего возвращения «окурка» с конечной станции пункта назначения — Сошно. Они оба сидели в дежурке перед печкой на старом МПС-овском деревянном диване, над которым висела шкура самсоновой собаки. О ее несчастной судьбе несколько позже.

А пока у Самсона самого были большие неприятности. Жена его, Любочка, вот уже вторую неделю как отсутствовала. Поехала за козой в деревню Ероши, что на той же сошновской ветке, заняв у местного учителя — пенсионера, Ивана Васильевича, пятьсот рублей — да исчезла. Пожалел после педагог с большим стажем и горькими опытом жизни, что дал запойной-за-

гульной бабе такие деньги в долг. А ведь прекрасно знал блядскую натуру бывшей ученицы, которая лет с двенадцати начала пропадать. Например, у солдат-стройбатовцев, что стояли тогда в деревне Болтovo, добираясь туда к ним верхом на ворованном коне. Через эти непроходимые болота.

Служивые, кстати, что-то в упомянутых болотах долго рыли и наткнулись наконец на кости советского летчика и останки самолета. Разыскали даже родителей без вести пропавшего и похоронили его там же с почестями. Сделали красивый памятник, к которому стали приходить школьники по праздникам. Однако местные жители были обеспокоены, связывая ухудшение жизни именно с этим скорбным фактом. Дело в том, что они еще с самой войны держали это место в тайне. Когда сбитый немцами самолет вошел в землю на несколько метров, на поверхности оказалось столько керосина, что им надолго хватило освещать свои хаты: с керосином в войну было худо. После этого они почитали пилота как бы за святого, совершая возле места его гибели нехитрые ритуалы — выпивали, плясали, пели частушки, иногда дрались.

— Понимаешь, Скрипач, — рассказывал Самсон, прилично захоронев после второго стакана

на самогона, не повеселев, впрочем, ни грамма, — у нее, Любочки, в Ерошах этих хахаль есть, я знаю прекрасно — такой противный старый черт без верхней губы и части черепа. Стоит нажать только слегка в этом месте на голову, где у него медная пластинка — конец ему без булды и блядства. Не соберусь вот никак туда съездить, но обязательно когда-нибудь выберусь, клянусь, давлену козлу на бошку как следует, — божился по-своему дежурный и от доброты душевной наливал еще пойла себе и Скрипачу.

— А она его любит, наверно. Дура! Любочка моя, имею в виду. Тот же, мудила страшный, хоть бы молчал, падла, а то как подопьет, орет, гад, на весь «окурок», как дерет мою бабу в своих сраных Ерошах. Со всеми подробностями пересказывает. Аж перед людьми стыдно.

Скрипач, чтоб сменить тему, вынимал свою самодельную скрипку и играл вдохновенно что-то лирическое, возвышенное. Лунную сонату, по-видимому. Самсон совершенно не разбирался в музыке, однако забывался под эти звуки, откинувшись на спинку старинного, затертого до блеска дивана, но вскоре просыпался и снова за свое — теребить раны.

— А возвращается от своего кобеля Любочки, сразу скидывает с себя одежду и ходит передо мной голая. Специально, Скрипач, пойми ты. И час, и другой так мимо меня шастает, тварь ебливая, пока у меня вся злость на нее не проходит. Вынимаю бутылку из заначки, распиваю с ней, чтоб не поминать лихом прошлое, и Любочки тащит меня в койку.

После четвертого стакана самогона, настоящего для крепости на навозе, Самсон вообще оправдывается: начинает харкать в разные стороны: на и так уже порядком загаженный стол, на стенку расписанную всю матерными словами и выражениями, в чайник с остывшим чаем и даже на скрипачеву скрипку.

— Ты мое безвыходное положение, слухай, понять должен, — продолжает дежурный, — ты человек ученый. Здесь баб, пойми, больше нет, в Бухалове, то есть — одни старухи, а их драть не будешь: без того мрут одна за одной, как мухи, блядь. За последний только месяц три штуки загнулись. А Гаше, может слыхал ты, внук Костя помог. Придушил ночью, положил в сундук и кинул в речку, чтоб завладеть поскорей домом. И то правда, зажилась Гашка на этом свете, лет ей считай, под девяносто. А Любочки, тварь,

всем дает без исключения. Стыдно даже рассказывать...

Скрипач согласно кивает головой, подмигивает — мол, глухо как в могиле, умрет с ним эта страшная тайна — сам капитально балдея от настоящего на навозе самогона, купленного у местного учителя, Ивана Васильевича, у которого, кстати, свое горе — пятнадцать кроликов загрызла у него самсонова собака. Он даже в суд подал на нее, но там случилась большая задержка из-за процесса над убийцей, который расстрелял из автомата, купленного по случаю на базаре у солдат, дорожного инспектора — молодого старлея, лишившего этого шоферюгу прав воождения на год, резко понизив тем самым уровень жизни человека. И это в такое трудное время!

«Козлу козлячья смерть», — комментировал этот случай Самсон, радуясь, что суд над его собакой отложен, а может и вообще не состоится. Шофер — убивец, всадив в инспектора девять пуль, сразу позвонил в милицию — мол, пришил тут одного вашего, мне самому приехать или вы за мной приедете.

Вот из-за такого серьезного дела и не стали в суде заниматься животиной, а она просто не

могла уже без кроличьего мяса, однажды попробовав. Вскрывала ночью клети очень умно и жрала кролей. Иван Васильевич очень опасался за остатки крольчатника. Пришлось разбираться полюбовно, по-человечьи. Предложил учитель владельцам собаки бутылку своего знаменитого самогона. Самсон еще колебался несколько, так как любил пса по-своему, но Любочка, та вмиг, только увидела пойло, заставила мужика взять ружье и застрелить собаку.

— Да она за бутылку сама своего Самсона застрелит, — шутил потом по этому поводу потерпевший пенсионер Иван васильевич.

Самсон же, на память о любимом друге, содрал с него шкуру и повесил в своей дежурке над рабочим местом.

«Сыграть бы им всем болезным на скрипичке для смягчения ожесточившихся сердец, — думал Скрипач, слушая подобные истории. Однажды, когда дежурный отрубился намертво, музыкант прошелся по всему Бухалову голый, играя свою Лунную. Деревня была безлюдной, как вымерла вся. Никто даже в окно не выглянул. Но Скрипач почему-то был уверен в пользе своего мероприятия.

* * *

Дома у себя, в городе, на улице Степана Разина, он частенько проделывал нечто подобное. Снимал с себя всю одежду и надевал женскую. «Это для смягчения души, — шептал он, чувствуя сладкое возбуждение, — трусики, лифчик, черные чулочки...» Читал сперва долго на память стихи классиков Серебряного века, свои любимые, потом хватал скрипку и пилил-пилил до экстаза, до слез и смеха, конвульсий, семязвержения — мыслей вслух: неужто и впрямь скоро конец света? Все рушится, распадается, не за что даже зацепиться, кругом безысходность, бездуховность, аморальность. Спекулянты наглеют, американцы издеваются, даже китайцы показывают нам жопу... Рыдая, отбрасывал свою самодельную скрипку в угол и падал ничком на кровать.

* * *

— Хороший ты, Скрипач, мужик, добрый, но пропадешь ведь в такое мутное время, — повторял Самсон, едва очухавшийся, грязный. Опустившийся, сопливый и облеванный, в отсутствии Любочки непригляденный. — Вот, смотри, она точно прибудет под мою получку. Обязательно. Как штык. К бабке не ходи. Прямо день в день, веришь-нет? Могу спорить. Разденется наголо,

я дам ей выпить, ляжем в койку. Потом она обос-
сytся... короче... — и Самсон бился небритой по-
черневшей рожей о плохо остроганный столик,
давая тем самым понять, что разговор окончен,
что «окурок» уже на подходе, что пора Скрипачу
сваливать.

В теплом вонючем вагоне, среди таких рож,
что непривычный человек испугаться может,
Скрипач плакал душой и мечтал о том, как обно-
вит сегодня поздно вечером свой женский гар-
дероб, который у него несколько обносился. Он
любил, между прочим, менять его регулярно.

Где-то часов в одиннадцать, осторожно как
кошка, поднялся на чердак, где висят мокрые про-
стыни и прочие тряпки. Приятно пахнет сырым,
влажным, женским. Немного пылью и кошачьей
мочой. В полуокруглое окошко видна старая пих-
та, к стволу которой прибита каким-то извергом
большая птица. Еще живая, она трепыхается, аго-
низирует, а Скрипач торопливо подбирает себе
гарнитур поприличней.

Он уже собрал вроде все необходимое и хотел
уходить, насвистывая про себя нечто мажорное,
марш победы как бы, когда из-за балки вдруг вы-
скочил кругленький как мячик участковый Двор-

ников с фонариком и пистолетом. Он давно уже караулил здесь вора, так как из дома номер тринадцать по улице Степана Разина неоднократно поступали жалобы жильцов женского пола насчет пропажи нижнего белья.

* * *

— Стой, ворюга, застрелю сразу! — крикнул он, но Скрипач так и рванул с испугу, разбил полукруглое окошко, выскочил на крышу. Выхватил скрипку, заиграл любимую Лунную, убегая. Да так жалобно, просто сил нет. Даже Луна не выдержала, показалась на небе, осветила все это безобразие. Участковый преследовал вора, и когда тот, как ему показалось, стал уходить, исчезая за трубой, несколько раз выстрелил из пистолета.

МРАК

Тоня, едрёна вошь! Где твоя черная юбка? Белая кофточка? Алмазная якобы, а на самом деле фальшивая брошь? Пропитое совместно золотое кольцо, подарок умершей бабушки? Где приблационная походка и речь-скороговорка? Привычка падать и биться именно затылком? Пугать меня до смерти. Где твои периодические течки и виноватый голос, мол, извини, милый?

Где твой крутой вид, мол, не тронь меня, а я тебя не трону, когда на поминках у бабушки гуляла вокруг стола с папироской, стряхивая пепел куда попало — в тарелки, в стаканы, на головы? Встревая то в один, то в другой умный разговор, всюду проявляя недюжинный, почти не женский интеллект и эрудицию такую, что хотелось, клянусь, стать на колени. Вся такая из себя энергич-

ная, порывистая, слегка, может быть, выёбистая. Хватающая меня за рукав, за лацканы пиджака, воротник рубашки, отрывая его на хер. Рвущая что-то вообще на части. Дергающая за манжеты штанин. Тащащая меня в критический момент на улицу от моей бывшей жены. А та орет, выставив в окно здоровый зад: «Смотри, идиот, что ты меняешь на свою худобу!»

Тоня, сука, всегда настаивающая на своем! Имеющая железный характер. Чертову хватку. Днем школа. Ребятишки доводят до слез. Дразнят костлявой, прозвали Воблой. Чуть что не по их, двойку поставишь или вызовешь родителей, кричат на весь класс: тебя что, муж не удовлетворяет, что ты такая злая?! Подонки! Бьешь их тогда чем попало — указкой, линейкой... А то снимешь австрийский сапог и молотишь по ненавистным бестолковкам.

А бывшая жена присыпает записки: что, мол, сволочь, на гнилую интеллигенцию потянуло, гада, мало было моего заработка продавщицы. Плюс продукты каждый день свежие, какие хрень найдешь где, да дефицитные шмотки, плюс уважение людей — и начальник милиции, и глава города, редактор газеты, не говоря уже о полковниках российской армии, приходят в гости и зо-

вут к себе — а в бане бабы становятся в очередь, чтобы потереть спинку... Рассказывает, тварь, о совместной будто бы прекрасной жизни, в которой, если честно, любви не было ни грамма, а дрались, да, часто. Я же ей, сучке драной, четыре зуба выбил и сломал челюсть коленкой. Да ну ее на хер, скотину! Толстую да глупую. Хотя, конечно, и правую в чем-то по-своему.

Тоня, отложи в сторону книжку по арифметике с интересными картинками и сложными для меня задачками про землемеров, водовозов, могильщиков. К примеру, если могильщик Федя вырыл за день две могилы и прилично заквасил, то — как заквасил могильщик Вася? Брось все, говорю. Выключи телевизор. Или нет, не надо. Иди ко мне. Зову тебя, желая до самых печенок. До выкручивания рук, душения подушкой, тыканья окурков в рожу.

Тоня, где твоя улыбка рот до ушей, когда морда ненаштукутурена? Она, клянусь, согревает мне душу и по сей день в любой мороз. Помнишь, отключают батареи, выключают воду, ни газа, ни света. В окно страшно дует. А ты не унываешь. Говоришь: «Давай, что ль, трахаться, милый». И снимает все как рукой. Все обиды. Всю боль от этой жизни. Забываешь даже про Чернобыль, прочую

экологию и порнографию. Рост преступности. Дефицит совести. Повсеместное хамство. Новую волну проституции.

Ты была неутомима в постели. Да и я с тобой прямо железный Феликс. Еще до того как окончательно переселился к тебе, помнишь, мы проникали в окно Петрова неприхотливого жилища в полуразрушенном, давно ждущем сноса доме. В дверь-то он не пускал никого, боясь ментовской облавы. Даже если звонили три раза якобы свои. Знал их ментовские штучки-дрючки.

У Петра там вообще, Тоня, ты помнишь, конечно, всякие чудеса случались довольно часто. Он заманивал к себе похабной до неприличия, слякотной до полного безобразия и ветреной до опизднения погодой, когда хочется в петлю или, в крайнем случае, пасть на землю и просить кровавую луну о снисхождении. Вот тогда и манил к себе, старый черт, тех, кому некуда деться. Желтым старинным абажуром, какие помнили с детства, теплой плиткой, раскаленной до красна. Приятным запахом отварной картошки. Фильмом военным по телеку. Простым столиком, на котором вечно консервы в томате, два дежурных стакана и бутылка портвейна. А то и целых пять. Наполнялись емкости, велась интересная беседа.

Открывались души, теплели сердца. Так мы утешались, Тоня, в то гнусное время, которого ты, дорогая моя, была достойная современница. Тикали мирно висячие ходики с тяжелой гирей, намекая на то, что самый отчаянный спорщик, дурелом бессовестный, мог свободно получить молотком по черепу.

Случались, говорю, всякие истории в Смоленске. Врать не буду. Дело прошлое. Раз у него во время пьянки убили парня. Отнесли в туалет на улице. Бросили в очко. Поссыпали сверху и ушли. Продолжили бухать. Потом и разошлись как ни в чем не бывало по домам. А на следующий день мертвое тело оказалось в постели самого старика Петра. Прикинь, каково ему было видеть такое с похмела-то. Не заслужил, видит Бог, этого хозяин квартиры, который привечал нас всех как родных.

Тоня! Где твой кожаный кошелек, в котором постоянно что-то звенело? А когда впритык не хватало на бутылку, можно было рассчитывать на твою соседку, коллегу по работе какую-нибудь или, в крайнем случае, на калеку-композитора Птушкина, сочинявшего марши для пионеров, а мы пообещали ему достать отличный цейсовский бинокль, чтоб он мог из своего окна рас-

сматривать, как раздеваются девочки в общаге напротив. Под это дело мы у него и брали то пять, то десять рублей.

Твоя прическа, Тоня, стоит у меня перед глазами и будет всегда пока не умру на хер. Клянусь! Сделанная насекоро в парикмахерской самой обычной, где у тебя нет знакомых, потому что ты ж у нас честная, не можешь поступиться определенными принципами. Отсюда и эти жидкие волосы, делающие на затылке почти что лысину. В твои то годы! Тоска, блядь, как вспомню. Просто хочется материться на наше правительство, которое уделяет ноль внимания педагогам. Ведь они же самые замученные в нашей позорной стране люди. На девяносто процентов постоянные клиенты дурдома. А тут еще требуют повышать культурный уровень. Урывками посещай кино, ходи на концерты симфонической музыки. Выкраивай время на театр, на оперу. Тоня, помню, как ты бросала все и просто летела на любимые тобой Кармен, Жизель ли. Одуревала по Баху. Не спала на Гамлете. Пренебрегала мне в пику выступлениями Пугачевой по телевизору. «Я талант отрицаю», — говорила, поучая меня некультурного, — но это ж, пойми, так вульгарно, низко. Какое тут к черту искусство. Это у тебя, дорогой, от твоей Клавки такие упаднические вкусы. А мне

хочется тебя немножко возвысить, облагородить, приучить к классике».

Тоня, убей меня! Я прощал тебе все. Ты ж образованная. Вуз окончила. Для меня это потолок просто. Предел мечтаний. Я, родная, чувствовал свою перед тобой неполноценность. Был как не пришёл к пизде рукав. При тебе, то есть. И помнишь в минуту отчаянной откровенности предложил делать со мной все, что угодно. Плевать мне в харю. Топтать ногами в австрийских сапогах. Бить моим же солдатским ремнем с большой бляхой. Ты любила, не спорь, и сама доминировать. Сесть, например, сверху, закурить сигаретку, и трахать меня, милая, трахать чуть ли не до утра, когда я был весь синий, а за окном серело и начинало материться дворниками, злыми, потому что еще не опохмелившись. Ты сама ругалась во время полового акта, как грузчик из винного. И в основном в мой адрес посыпала проклятья. Я прощал тебе все. Ты меня просто заколебала таким образом начисто. Терпел и сносил покорно. Не дай соврать, сука. Обливала кипятком как бы ненароком на тесной кухне. Била в глаз локтем. Якобы случайно. Ногой под яйца. Вроде не замечая. Сыпала на свежие порезы соль из мною же купленной для тебя солонки в виде красной помидорки. Подарок, между прочим, к восьмому марта.

А однажды после праздничного ужина по случаю Дня международной солидарности трудящихся, когда у нас были гости, я проснулся ночью, чтобы попить, а за одно и поссать, и увидел в твоих руках ножницы. Ты презрительно смотрела на мои холодные, сморщеные от страха яйца и думала: «Отхвачу-ка я их на хер!» А потом и добила бы меня, чтоб не мучился, умирая от заражения крови. А, может, наоборот, дорогая, в случае, если б спасла меня «скорая помощь», полюбила пуще прежнего. Со всей свойственной тебе нежностью. Кормила б из ложечки. Не пускала ходить на работу. Покупала б в день по два портвейна. Портного приводила бы на дом. Сама связала бы свитер из толстой шерсти — сдержала, наконец, обещание. Пахать бы стала в три школьных смены. Да вать уроки на дому всяким придуракам. И даже... даже подумать страшно. Подторговывать телом на улице и возле дешевых гостиниц, где контингент неприхотливый, в основном командировочные из провинции, которые выходят перед сном выкупить сигарету в рваных трико и грязных майках. Постоять и заторчать от красивых звезд на небе, у которых, если откровенно, почему-то постоянно хочется просить прощения за эту подлую жизнь.

Тоня, пошла ты на хер! Однозначно. Не ты ли, милая, довела меня до ручки? До полного мрака.

До того, что я вообще вольтанизался. Своим поведением, сучка, прежде всего, когда не поймешь, чего ты на самом деле хочешь. А? Вот именно... Я уже плясал под твою дудку на второй день нашего сожительства. Мыл тебя в ванной, стирал твои грязные тряпки. Плясал на самом деле под эту голубую флейту. Потому что ты захотела устроить себе еще одно развлечение — под Новый год. Огонек по телеку, видите ли, был не в кайф. А какая разница, когда мы бухие в жопу? После того как я утомился, заснул и проснулся — увидел твою рожу... Боже, за что мне терпеть такой страх?! Ты не спала, естественно, и в руках имела мясницкий нож длиной в метр. Я точно такой у дружка моего Серёжи видел. Он им своего сынишку неразумного Сашку зарезал, а заодно и сожителя его, парня постарше, приучившего маленького к гомосексуализму.

Тоня, большое тебе спасибо, блядь, за все. В частности за умные литературные слова, которыми я теперь владею в совершенстве. Например, мастурбация, скотоложство, антропофагия.

Тоня, заколебала ты меня праздными вопросами! Так и слышу твой хриплый голос. Какое там на хуй хорошее настроение. Живешь тут как в могиле. Темень и полный мрак. Кругом одни

мрази. Дебилы. Сволочи. Людоеды. Шагаешь по комнате. Держась за стенку. Набиваешь синяки да шишки. Кое-как выкручиваешься, только чтоб не протянуть ноги. Денег никогда почти нет. А если купишь себе что, редкий случай, сразу же хочется пропить, даже не обмыв.

Ты помнишь, Тоня, как я с твоей подачи полюбил читать книжки? Всякие без разбора. Какие принесешь из библиотеки, на те и набрасывался. Анатолия Иванова и Петра Проскурина. Из серьезных авторов. А развлекались Юлианом Семёновым или Валентином Пикулем. Все в прошлом, однако. Бывало ночью встану потихоньку, закурю «Беломор» и читаю, блядь, читаю до утра. Может, от этого и крутые неприятности в моей жизни, что сильно начитанный. Любил думать нестандартно. А надо было просто брать от жизни то, что она давала. Как учила еще моя Клавка.

Я помню, читал «Декамерон». (Ты говорила, слегка смущаясь: «Это все про любовь, милый»). И был уже в самом конце романа, когда случилось несчастье, о котором несколько позже. Наслаждались с тобой вместе похождениями монахов и похотливых женщин. Все почти про секс прочел, успел-таки к счастью, до того как померк свет. Да, есть чего вспомнить. Как оказалось, это была по-

следняя книжка в моей жизни. Вот жаль не с кем теперь поговорить обо всем этом книжном, поделиться ученым опытом: кругом же одни необразованные. Ублюдки. Дегенераты. Эмбицилы. С тобой бы, Тоня, побеседовать. Ты культурная. И очень гордая. О, отлично помню твой гонор и грубый, словно от регулярного употребления горькой, голос. Как ты гаркнула однажды, когда я собрал вещички, чтоб от тебя сдернуть. Ты закричала мне в вдогонку: «Ну и вали, сука, понял!» Вот это, подумал, по-нашему, по-народному. И что же? Решил остаться на свою голову.

Нрав твой с надрывом вспоминаю часто и привычку дурную курить одну за одной папиросы во время разговора, тряся пепел куда попало: в цветы на подоконнике, в карман мне или даже на непокрытую голову. Резкие твои движения руками и ногами. А тут еще ты положишь холодную, как у покойника, руку на мой разгоряченный, потный, лысеющий череп (ты шутила: я тебе всю плешь проела, милый), как прижмешься плоской грудью своей к моему пылающему от гнева сердцу, так и отойду душой, позабуду все обиды разом. Захочется вдруг доставить тебе, дорогая, большое удовольствие. Зайти, например, в ближайший магазин и взять кассу. А на добытые деньги приодеть тебя.

А как красиво ты умела петь модный репертуар того времени. Как пристраивалась в кресле по-кошачьи возле радиолы. Подтягивала, подхвачивала, подпевала. Растигивала звуки, как будто издавалась над певцом или певичкой. При этом корчила смешные рожи.

Тоня, хорошая моя. Шкура! Ко мне теперь никто не ходит из порядочных. Разве что всякая нечисть, типа кладбищенского сторожа Ивана Мёртвого. Иногда встаю со своей раздолбанной койки, тяжело дыша. Бормочет что-то не по нашему не выключенное радио. Бредит и матерится во сне, лежа на полу, мертвецки пьяный Иван. Выхожу наружу. Темно, сырьо. Остро пахнет полынью. Ни звезд, ни ни неба. Все, не могу больше. Умолкаю на этом. Нет сил. Не скучай.

ПСИХОЗ

Суки, падлы, мрази. Ебланы конченые, козлы вонючие, черти задроченные, твари пастозные, скоты отстойные, пидоры ебучие и гнойные.

Сны какие-то мрачные пошли мне сниться, будто наступает всеобщий якобы пиздец. Достают рассеян цены на жилье, мизерные зарплаты, дорогая жратва, сходящие с ума от недоёба бабы, спившиеся и дохнувшие не дожив до тридцатника мужики. Куриный грипп, азоновая блядская дыра и угроза потепления, грозящая библейским потопом, охуевшие от вседозволенности позорные волки ментовские, уебаны беспредельные жирные, засевшие в «рублевке», как в крепости, чиновники, тупое правительство, пробки на дорогах, рушащиеся то там, то тут дома (и устои: порнуха, педерастия, педофилия, тотальное лес-

биянство, ползучий фашизм, воровство, беспрепредел), ебучие бюрократы, сосущие кровь бедных людышек... Вот такая поебень каждую ночь снится, хоть я уже и газет давно не читаю и телевизор не смотрю.

Утром просыпаюсь от громкого стука в дверь. Первая мысль — только бы не менты. Иду открывать, спрашиваю: кто там нахуй приперся в такую блядскую рань? Слышу маловразумительное мычание в ответ и понимаю, что пришел Архитектор. Его уже окончательно загнали в угол Пришельцы, зеленые человечки, и он лишь иногда вырывается от них и бежит, бежит куда глаза глядят. То ко мне, то к Дуче, соседу моему по Ленина, то... у него точек спасения много и на Бакунина, Коммунистической, Октябрьской, Парижской коммуны... Он в последний раз, когда залетал сюда, птеродактель ёбаный, все меня учил. Не пей, кричал хрипло, потому что тихо разговаривать не умеет (у них на Бакунина все так орут), не пей ты, мне советовал, паленную водку, от нее, сам знаешь, сколько щас народу мрет, а пей лучше самогон, вот смотри на меня — двадцать лет уже самогон хуярю и хоть бы хуй. Посмотрел я на Архитектора — опухшая, заросшая, почерневшая, побитая морда. А он продолжает, что знает тут на Запольной два адреса с отличным самогоном, от

которого еще никто не умер... Открываю дверь. Стоит — тертая столетняя кожанка, рваные штаны, разбитые сапоги. Про морду молчу. И баклажка с самогоном под мышкой. Ах ты тварь, думаю и хватаю топор. Он у меня завсегда за дверью от непрошеных посетителей. Хрясь ему по черепу — готов.

Тут еще полное лунное затмение случилось, а оно так просто не проходит. Люди охуевать и беситься начинают. Копенгаген восстал против уродливой власти, запрещающей и рушащей все живое, и ее шестерок свиней копов. Вперед за принца датского!

Да заебали черти, сколько ж можно. Тут еще соседка с первого этажа, ёбаная Настя, закиряла по-черному. Не просыпает ... Родители ее уже домой не пускают, она в дверь часами бьется, орет. Или просит: папочка, пусти, пожалуйста, ты ж говорил, что меня любишь. Потом куда-то исчезает (раз видел ее спящую на ступенях высокого крыльца забегаловки с железной дверью «Закусочная» на Докучаева, где постоянно похмеляется Тарасик) и вдруг опять является, обычно с какой-нибудь бичёвкой или приблатнённым ебланом. Шум на весь подъезд, угрозы... Насорят своим пивом, семечками... У меня постоянно си-

гареты стреляет и просит деньги. Раз приходит уже поздно вечером и говорит, что, мол, пошла в аптеку за лекарством (оказывается, эта ёбаная Настя еще и беременная), и там у нее какие-то отморозки отняли пятьдесят рублей. Просит выручить, а то ее папка домой не пускает. Не дал, конечно, знаю, что не отдаст никогда, шалава приблудная.

Тут еще Наташка распоясалась тоже совсем. Угостил ее опять водкой... Сколько раз себе говорил: нельзя давать, сучке, ни грамма. Выпила почти всю бутылку и потянула меня погулять. На улице, сказала, хорошо, погода, вроде, наладилась. Установилось затишье перед бурей. (Это как раз накануне лунного затмения). Сама веселая такая, приколы, смехуёчки, рассказывает, как не вылезала пять суток из штабквариры молодых лесбиянок в Колодне. Идем по площади Ленина, вдруг она останавливается у памятника и начинает снимать с себя штаны. Народ кругом. А Наташка еще и кричит, что она круче даже, чем Ленин. Ну, это, согласитесь, перебор. Я многое могут стерпеть, а тут... Как начал ее пиздить. Эту площадь Ленина кровью залил. Не знаю, может, убил даже девку. С тех пор ее не видел.

Короче, возвращаюсь домой — ёбаная Настя сидит на лестнице и тупо листает телефонную

книгу. Отвлекается, крыса, от бухла и наркотиков. Опять начала курить у меня стрелять и просить десятку. Ну, говорю, пошли. Привожу к себе, включаю музыку и ставлю дешевку раком... Взял старый солдатский ремень с хорошей бляхой, который остался еще от деда, который прошел всю финскую и погиб в первый день на отечественной, и отходил эту беременную свинью по толстой жопе. Потом прогнал пинками грязную тварь вонючую. Чтоб она сдохла, паскуда!

Суки. Падлы. Мрази. Скоты. Ебланы. Бляди продажные. Пидоры конченые. Заебали все нахуй, достали конкретно. Немножко только отпустило, на время. Потом опять как нахлынет. Все это лунное, блядь, затмение. Тогда хватаю винтовку — и начал, блядь, из окна палить куда попало.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

Это был длинноногий, сутуловатый, остроносый, на вид хищноватый средних лет мужчина, одетый в обязательную кирзу и фуфайку. С рюкзачком за плечами. Там хлебушек, который возил регулярно из города в свою родную деревню Кощино, чтоб кормить скотину.

Ходил быстро, руками махал энергично, говорил охотно. Не матерился. Не курил, почти не пил. Из рассказов его на станции становилось ясно, что мужик он положительный и справный. Хороший хозяин, чуть ли не мастер на все руки. Косу набить, забить борова. По плотницкому делу все мог, да и по столярному. Землю знал, как свои пять пальцев. Умел обращаться с домашними животными. А больше всего на свете любил порядок.

— Вот случай вам для примера, — говорил он двум старушкам, пока ждали дизель, — щас этих грабителей развелось, страшное дело. И вот идут раз парень с девушкой, гуляют вечером, а навстречу им двое — мол, снимайте одежду. Ага. Только у мальца оказалась с собой рация. Понятно? Он и сообщает быстренько в милицию. Те говорят ему: задержи бандитов минут на десять, мы подъедем. Ну, он отвлекает негодяев разговором. Тут, бац, машина подъезжает. Грабители эти — ходу, а милиционеры по им с пистолетов: бах-бах. Одного положили наповал прямо, другого тяжело ранили. Умер, гад, в больнице. Только так и надо с ними, подлецами, бабаньки, обнаглели ж, твари, вконец.

Старушки вздыхали, охали, поддакивали, вздыхали. Припомнили сами поучительный случай про школьницу, которую раздели намедни среди бела дня чуть ли не в центре города. Сняли куртку, свитер, джинсы, кроссовки. Не говоря о часах, украшениях и прочей ерунде. Пустили домой голую.

Или вот еще спекулянты эти на базаре надорвали всем, возмущались старушки. Пусть бы свое продавали — огурчики там, помидорчики, яички — никто бы им слова не сказал, так они же по деревням ездят, скупают все дешевле, а продают в три раза дороже.

— Вооружаться надо, вот что, и наводить порядок, — рекомендовал Положительный, — громить их, зверей.

— Так-так, — соглашались старухи, — правильно, так-так.

— Я тут как-то пошел к одному — стоит такой молодой, здоровый, красная морда. Пахать бы такому в деревне, а он, слышь, жевательной резинкой торгует, сволочь. Я ему и говорю: вот запихать бы тебе эту жвачку в твою глотку, падла, в пасть прямо, весь твой поганый ящик, чтоб ты навек подавился. Или вот еще пьяницы обнаглели вконец, гады. Например, Чик, Хамлеев сын. Ну, каждый вечер пьяный ко мне лезет и лезет в хату. Я ему говорю: нет у меня ничего, что ты сюда ходишь? А он не понимает, скотина, все прется и прется внахлую. Ну, я его предупредил раз и два, мол, придешь еще — сильно пожалеешь. Не понимает человек. Хоть бы что. Налил бельмы и обратно лезет. Тогда беру я лом и по горбу ему — хряп, он — брык с копыт. Готов. Переломал ногодяю хребтину.

Старые поддакивали: правда, спьянистовались, засидились, сблюдовались, теперь зубами об стенку. Одобряли действия Положительного. Чик, Хамлеев сын, им самим надоел впритык.

— И представляете, бабаньки, как померла моя женка, Настя, он, пьяная морда, на поминки приперся. Ну не хам ли? Беру это я оглоблю — как дал ему — он у меня с крыльца так и загремел вместе с костылями, паразит. А матка его, Дуня, тоже, ох, стерва. Вы ж ее прекрасно знаете. Вот слушайте. Сплю это я однажды на сеновале с собакой моим Жуком и чую, он чего-то забеспокоился. Я выглянул — вижу, Дуня с мешком крадется к моей поленнице дров. Вороват, значит. Ах, думаю, тварюга! Беру палку (это в четыре часа утра, учтите), подхожу незаметно сзади — как дал ей, падле, по голове изо всех сил. Она — брык и валяется. Днем встречаю ее — за голову держится. Спрашиваю: что ты, Дуня? Отвечает: это я шла за водой к колодцу, поскользнулась, упала и ушиблась. Не поскользнулась ты, объясняю ей, а моей палки попробовала. Еще будешь дрова у меня таскать, не так получишь.

И что вы думаете, бабаньки? Не прошло и недели, обратно сплю это я с моим собаком Жуком на сеновале и чую, что он тревожится. Вылезаю — так и есть. Снова Дуня крадется с мешком к моей поленнице. Думает поживиться. Но у меня там уже хитрая вещь от воров придумана была. Называется «Насторожка». Только дернешь одно полено — на тебя сразу несколько дровин пада-

ет. Дуня дернула, тут на нее и посыпалось. Лежит, встать не может. Много ль ей надо в семьдесят восемь лет, а?

В общем, валяется она, а я иду мимо, когда уже давно рассвело. Спрашиваю: что ты здесь отдыхаешь, Дуня? Та мне: да вот шла, милый, за водой в колодец, поскользнулась, упала, встать не могу, подсоби, мол.

Эх, говорю, Дуня, не к колодцу ты шла. За водой ночью с мешком не ходят. И не поскользнулась ты, а дровы из моей поленницы воровать полезла и получила за это по голове. Попробовала мой «Насторожки». Смотри, еще раз сунешься, хуже будет.

И что вы думаете, бабаньки? Послушалась она меня? Куда там. Сплю я это с Жуком на сеновале и чую, собака моей неспокойный стал. Выхожу, а Дуня возле моих дров опять со своим мешком драным. Думает поживиться. Чик же, Хамлеев сын, за пьянкой не может снабдить матку дровами. Идиот! У меня ж на этот случай сильное средство приготовлено было. Называется «Давилка». Только Дуня одно поленце дернула — вся поленница как есть на старую так и рухнула. Придавило, конечно, ворюгу на-

смерть. А пусть не лезет. Урок ей и подобным тварям.

Старушки слушали Положительного, охали, ахали, вздыхали. Не знали, что и сказать по такому случаю. С дровами у всех них было не очень.

— А есть еще штука одна, тоже очень замечательная, — сообщал Положительный напоследок, когда грязно-красный дизель уже приближался к станции, — меня один мужик из Сибири научил, у нас тут до такого еще не доперли. Называется «Дробилка». Ставится возле хлева и бьет исключительно по ногам. Я однажды трех цыганов-скотокрадов ею разом уложил. Так и рухнули, только сунулись, волки противные. Раздробил чертям нерусским все кости. Вызвал милицию. Они приехали и взяли их прямо тепленькими за жопу, — заканчивал положительный мужик свои нравоучительные истории.

* * *

А вскоре Положительный вообще прославился. О нем даже в газете написали и сообщили по радио. Он что сделал? Когда воры и всякая сволочь совсем обнаглели в связи с разрухой, голodom, бесхозяйственностью, обнищанием масс,

беззаконием, параличом власти, резким подорожанием продуктов питания, он заминировал свой огород, и, когда однажды два негодяя полезли воровать у него картошку да лук с морковкой, рвануло так, что от ублюдков остались лишь жалкие клочки.

ЭЛЕОНORA

Леша пришел ко мне как-то осенью, когда жрать было уже практически нечего, и, не переступая порога, спросил: «Как ты насчет порева?»

Он такой задроченный, худой, выгнанный из армии за пьянку. На вид доходяга, а туда же — дай ему девочек. Лет тридцати пяти. В желтой старой болоневой куртке и красной шапочке.

Я отказался, конечно, ехать снимать шкур, потому что, во-первых, не было денег, а ведь водка стоит четвертной не меньше, а во-вторых, от того что нечего было есть, напала какая-то апатия, из дома не хотелось выходить.

Дней через несколько я повстречал Лешу возле помойки, где наш смурной народ, записанный

в очередь толстой бабой в фуфайке и застиранном синем больничном халате (она работала санитаркой при дурдоме), ждал уже не первый час машину с капустой.

Люди ругались, кляня чертову власть, вспоминали добрым словом Брежнева.

Был октябрь в середине, ожидалось резкое похолодание, но пока на солнце было тепло и приятно. Поэтому разговаривали мы с Лешей сугубо об эротике. Вспомнили несколько фильмов с интересными сюжетами.

Какой-то мужик в старых джинсах и ватнике, тот самый, который потом хапнул себе восемь мешков с капустой, так что мне, бедному, чья очередь была прямо за ним, вообще ничего не досталось, говорил тетке в больничном халате, что ему лично масло совсем не нужно: чай он не пьет, в суп масло не ложит, была б дешевая водка — и ладно.

Болтали, что зима должна быть по всем признакам холодная, а голод будет настоящий, как в старые времена.

— Моих ста пятидесяти да ее ста, думаешь, хватит нам с женой и двумя детьми? — спрашивал

меня Леша, и я ему ответил напрямую, чего темнить в атмосфере свободы слова, что, конечно же, нет, и что обязательно загнутся к весне. Детишки первыми кончатся, понятное дело — сперва младшенький, после старшенькая. Мать обезумеет, кинется на теплый еще трупик, начнет его терзать и грызть... Тут Леша и даст ей по голове камнем, достав его слабеющей рукой из бочки с квашеной капустою, которую они съели еще до Нового года. Ну, 31 декабря еще было чем закусить водку, всего бутылка и была, какая там пьянка, одна тоска.

Чтоб среди прочего заглушить хоть как-то страшный голод, даже детушкам наливали по чуть-чуть, а что делать: ведь плачут сутками, бедненькие. Сначала хоть картошечка была, выручала, не говоря уже о мясе, которого не было с того октября, когда мы сошлись с Лешей в ожидании машины с капустой.

— А помнишь Эмануэль? — вспомнил он видео-хит про французскую эротоманку.

Как же я не помнил. Мы живо обсудили особенно емкие сцены из популярного сериала, который смотрели, когда пожрать еще было более-менее вволю. У меня, например, некоторые эпизоды женского онанизма, лесбоса или совращения

малолетних девочек взрослыми женщинами на-веки ассоциировались теперь с цыплятами гриль, котлетами по-киевски, люля-кебабом... И все это под хорошее марочное вино и водку. О, мы часами смотрели эти секс-фильмы и жрали, жрали, чревоугодники, до икоты. Вот теперь и пришла пора расплачиваться.

— Помнишь Сад Радости в третьей серии? Эти групповушки, когда можно брать любую бабу, какую схватишь, и драть ее, драть, сучку. Жалко, что у нас нет таких шикарных борделей, — расстраивался Леша.

— Ничего, — утешал я его, как мог, — скинут власть, все будет нормально сексом, вот увидишь, как в Венгрии. Да и с мясом тоже, кстати. У них там, знаешь, сейчас есть услуги, например, в такси включают счетчик и пошел ее катать, шлюху, как хочешь, а она должна исполнять любое твое желание. А в перерывах какая угодно фирменная жратва — пицца, гамбургеры, хот-доги.

Леша мечтательно улыбался усатой половиной рожи из-под натянутой чуть не до носа красной шапочки. На солнышке приятно расслабиться и совсем не охота думать о зиме и ее ужасных последствиях — прямом людоедстве в ряде случаев.

Курили «Астру», которую теперь покупали у цыган за два пятьдесят пачка. Был случай недавно в нашем подъезде вечером. Мальчишка ПТУшник попросил у пенсионера и ветерана дяди Коли, который курил перед сном на воздухе, сигаретку, а дед по привычке послал пацана на хуй. Тот и пошел, вернее, побежал даже вверх по лестнице к себе домой и скоро вернулся с молоточком. Да так дал старому жлобу, с его точки зрения, по темечку, что тот умер на месте, не приходя в сознание.

— Помнишь мою первую жену? — спросил Леша задумчиво, в то время как люди активно разбирали капусту (мы, размягченные сексуальными воспоминаниями недалекого прошлого, пролетели мимо кассы. Леже еще достались несколько коchanов, а мне, как уже говорил, вообще ноль).

— Красивая у тебя баба была, я отлично помню, — сказал я, имея в виду первую жену Элеонору, припоминая с трудом сквозь винный дурман шапочного знакомства ее чувственное лицико, черные волосы, упругий высокий зад и весь вообще жантильный, слегка жеманный вид в отличном по тем временам прикиде — кожаный плащ и высокие итальянские сапоги. Вот все, что я запомнил. Она куда-то тащила Лешу, который хотел продолжить: вина-то было много и очень дешево-

го, но не умел сопротивляться, не мог как следует показать перед шкурой мужской характер. А еще офицер. Я ж был тогда неслабо парализован убойной бормотушной дозой и не смог задержать товарища, отбить его от агрессивной женщины.

— Она, между прочим, очень любила, когда кто-то третий присутствовал, когда мы трахались, — объяснял Леша, — поэтому любила этим делом в гостях заниматься или, если к нам кто приходил с визитом. Даже при родителях у нее дома. И обнажаться обожала, ходить практически голой перед отцом-матерью. Ну, там накинет какой-нибудь легенький пеньюар, а все просвечивается. И при всяком удобном случае тянет меня на кровать, хотя знает прекрасно, что мамаша или батя постоянно заходят в комнату по хозяйственным делам, там варенье варят, закатывают помидоры, маринуют грибы. Ты помнишь, время то было, лет десять назад, когда жрали еще прилично. А у нее старики только тем и занимались, что запасались. Но предкам ее, я тебе скажу, кажется, абсолютно по хую было, что мы при них ебались. А если у нас вообще никого под рукой не было, кто бы видел наш с ней половой акт, тянула меня на улицу, в подъезд или на автобусную остановку, что бы только люди нас видели. Она от этого просто торчала, а иначе ей трудно было кончить... Однажды в гостях у одного лейтенанта я ей говорю: «Элеонора, а ты не

против, если я его позову к нам в постель?». И она говорит, как хочешь, мол, Леша, это от тебя зависит, а сама, вижу, прямо трясеется вся от желания. Но я тогда, конечно, этого блядства не позволил. Молодой был, не понимал многого и имел этом смысле определенные принципы — жена все-таки. Дурак! Теперь бы все по-другому, само собой, устроил. Специально мужиков приглашал бы, да еще брал бы с них деньги за приятный вечер.

— Ты мог бы ее, — сочувствовал я, — иностранцам сдавать.

— Да-а... — мечтательно протянул Леша, аккуратно докуривая бычок, обжигая пальцы, щурясь на солнышке, — я очень надеюсь все-таки, что она вернется. Не приживется, думаю, у этого черного в его ёбаном Баку. Там же у них с бабами строго, а она блядануть любит как следует. Азербайджане за это убить могут, не так ли? Плюс эти погромы там и русских гонят вон на хер. Я знаю, она на деньги польстилась, только вряд ли у нее что получится. Не выдержит Элеонора при ее характере. Как считаешь?

— А сколько она уже там?

— Пять лет уже, однако.

— Скоро приедет, — поддержал я Лешу в его предположениях, — к весне, если сам жив будешь.

— Когда в Монголии жили, она с этим азербайджанцем спуталась. Тоже мне друг называет-ся. Жили в одной квартире. Ну, знаешь как в армии — трехкомнатная хата и три семьи в ней — кухня общая. А Элеонора наденет коротенькую рубашечку и готовит чего-нибудь без трусов. Готовила она, между прочим, хорошо. Жрали там неплохо, потому что с продуктами было отлично, особенно мяса завались, страна-то скотоводческая. Пельмени она делала, мы их под водочку... Как вспомню... Вот, а у Элеоноры, когда она у плиты, все из-под рубашки видно... Мужикам нравилось, а бабы, их жены, были, разумеется, против. Рычали на нее. А ей хоть бы хуй, улыбается только. Ну а этот черножопый возбудимый оказался чрезвычайно. К тому же она, представь, когда душ принимала, никогда не закрывала дверь в ванную, что б мужики могли войти случайно и увидеть. Там было на что посмотреть.

— А скажи, — спросил я, — сколько ей лет было, когда вы поженились?

— Восемнадцать. Первый раз ее какой-то старый мужик трахнул, когда ей и шестнадцати не

было. Он из Москвы сам, воротила теневой экономики, отдыхал в нашем городе в доме отдыха. Элеонора там рядом была в спортулдагере. Она рассказывала: он ее расхваливал, какая у нее грудь, фигура, зад, ей очень нравилось, а однажды затащил к себе...

Мы беседовали, а день был в разгаре. Субботний, неспешный, прохладный в тени, но на солнце теплый. Полный забот о хлебе насущном и злобы на сук, которые лишают нас последней радости в жизни, жратвы то есть. Наши людишки, мужики и бабы, базарили за жизнь, что становилась все хуже.

— А то знаешь, чего еще предлагала, — вспомнил Леша и улыбнулся щепоткой усов, — говорит, давай пригласим фотографа, пусть поснимает нас во время акта в разных интересных позах. Ну, я ни в какую. Глупый тогда был, принципиальный. Сейчас бы конечно — полный вперед... Но она в итоге своего добилась все-таки. Присыпает мне в эту Монголию ёбаную фотокарточки перед самым своим приездом. Это незадолго уже до развода было, когда Элеонора с этим черным спуталась. Ну, и там на фото она абсолютно голая, в разных ракурсах. Я потом спрашиваю: кто снимал-то тебя хоть? Отвечает: Подружка, Светка. Была у нее такая, вер-

но. По музучилищу. Еще покруче, может быть, чем моя Элеонора в плане секса. Я, вообще, заметил: там у них в музучилище все девки какие-то насчет эротики сдвинутые. А Светка любила, например, свою грудь неожиданно обнажать, когда смотрели вечером телевизор и жрали при этом голубцы. Они очень их любили — и та и другая. Красивые сиськи, ничего не скажешь. Просила Элеонору, чтоб та их ей гладила. Да они, наверно, и спали вместе неоднократно. И не наверно, а точно. К лесбосу моя тяготела явно, только я тогда не понимал этих дел. Темный был, необразованный. Теперь-то мы знаем, просветились, не так ли?.. И все же я очень надеюсь, что она вернется скоро, сбежит из этого позорного Баку, испугается погромов, резни, немотивированных убийств, самосуда, гонений на русских и всех притеснений, какие выпадают на долю женщины в мусульманской стране... наплюет на большие бабки своего азербайджанца и приедет сюда к нам. К весне, может быть? Так ты считаешь?

Я заверил товарища, что обязательно приедет, будет здесь весною.

— Тут-то я ее и возьму ее в оборот, — закончил Леша на такой мажорной ноте.

ДОМИК НА БОЛОТЕ

Расскажу я тебе, друг, историю. Все равно ночь ведь глухая. Все выпито, выкурано, съедено, денег совсем нет. Делать, Коля, нечего. Будем до утра выживать с тобой. Короче... Ты только не спи, Колян, озябнешь. Двигайся лучше к стенке. Я рядом, брат лихой, не ссы. Ну, вот слушай. Сижу я как-то в бане деревенской. Вдруг, глядь, вижу... Нет, ну ее на хуй. Давай лучше о хорошем. Плохое мне надоело насмерть. Ну его в баню. Так же, Коля? Ты только слушай внимательно, большая к тебе просьба. Я не вру ни грамма. Все так и было. Точняк. В общем... О чем это я хотел? Сбил ты меня, Коля. Глупо было бы, да? А почему так, Колян? Да не пизжу я, пойми ты меня правильно. Нет, нет и нет. Все, брат, вспомнил. Наконец-то. Памяти-то совсем нет, столько пить, конечно. Так вот... Ты, блядь, спиши, что ли? Слушай сюда, мудак. Тут голая правда.

Жил я, значит, в домике на болоте. И решил однажды прогуляться. Да нет. Ты не понял. Болота там давно уже не было никакого. Сухо совсем. Нет, нет и нет. Отказать. Только воздух остался неприятный и даже вредный. Люди там часто болели и умирали. А народ плохой совсем там жил, я тебе скажу как другу. Одним словом, черти. Иду я это, иду. Пиздую себе куда глаза глядят. Вижу, вроде, поле, потом речка, дальше лесок, а за ним проселочная пылится дорога. Опять скажешь вру, что ли? Да ты обнаглел, Колян. Какие на хуй сказки? Смотри, не обоссысь только. Ладно, прости, брат лихой. Без обиды. Кстати, завтра утром встаем пораньше, собираемся... нет, нет, никакой водки. Исключено. Отказать. И прямо раненько за клюквой. Да какое там болото. А, ёбана, вспомнил. Вот, значит, иду я. Курю пока. Смотрю... Эй, Колян, подвинься, ёб твою полуёб. Охуел, что ли, с горя? И не спи, братан, пожалуйста. Рассказ страшно интересный. Подхожу я, короче, ближе, глядь — стоят люди. Ну, человек, скажем, чтоб не спиздеть, двадцать. Мужики, бабы, девки. Детей тоже штук несколько. Да зачем мне врать, братан? Смысл есть? Достал ты меня, мудила. Не в обиду будет сказано. Ночь глухая у нас кругом. Никто нас не видит, не слышит. Какой понт пиздеть? А вот почему так, Коля? Да ладно, проехали. Так, так и так. Без булды и блядства. Подхожу я к ним и спрашиваю: «Му-

жики, закурить у вас хоть есть? Дайте ради Бога, а то последний бычок добил. Водки ноль. Жрать нечего». Да не, Колян, у меня глюки были сколько раз. Однажды... да ну их в баню. Не сомневайся. И белочка тоже была. Проходили. Сам знаешь, в дурке не раз отметился. Только хуйня все это. Не ссы, брат лихой, прорвемся. Единственно — прошу как человека: не обоссысь тут на койке.

* * *

Погнали, однако, дальше. Ништяк история? Нравится? Ну, спросил у этих чертей насчет курева. Молчание с их стороны полное. Ноль на меня внимания. Никто даже в мою сторону не глянул. Огляделся: ментов вроде нету. Это уже хорошо. Туда нам не надо. Проходили. А где-то мы сейчас, Коля? В бане, что ли? Не дай бог. Только не туда. А, вспомнил, блин. Нормально. Заебись. Классно. Мед и мед. Да двинься ты, рожа противная. Не наваливайся, придурок. А то ебану. Так вот. Ничего себе, сказал я себе. Стоят они и молчат наглоухо, как обосрались все. Ни водки притом, слышь, брат, ни курёхи. Но бабы были, врать не буду. И молодые, и старухи. Смотрят строго вниз. Там гроб стоит. В нем лежит девушка. Не перебивай ты, падла... А, ты молчишь. Это правильно. За умного сойдешь. Ёбаный случай! Прикинь, девка молодая

совсем лежит в том гробе. Красивая, пиздец всему. Да не пьяная, идиот. Мертвая. Сто пудов. Как ты примерно. Шучу я так, дурак. Короче. Слово за слово, хуем по столу. Она и говорит... Да не покойница, заебал ты, Колян, своей простотой тоже. Скажу тебе откровенно, брат лихой, с головой ты не дружишь точно. Ебанись ты с горя! Обормот. Шкура есть шкура, пойми простую вещь. В общем, ты как хочешь... Какое там спать. Уснешь тут. Какие уж сутки пылают станицы? Притом ни выпить, ни курёхи, ни пожрать. Ладно, завтра утром встаем с тобой, моемся, броемся обязательно, берем рюкзачки. У тебя, кстати, рюкзак есть или проспал давно? Ну, понял. А вода тут у нас где? Все есть — только ни жрачки, ни пойла, ни курёхи, братан. Дожились. Да все будет. Не ссы, прорвемся. Какие наши годы, братишка. Слушай дальше историю.

А помнишь, Коля? Да что толку теперь вспоминать. Ты там дрошишь, что ли, придурок?.. Все у нас было, только хуйня все это.

Короче, разделся я и начал париться. Тьфу, блядь, обратно про баню. Привяжется же такая поебень. Я говорю тебе в десятый раз... примерно. До тебя не доходит, наверное. Въехал ты, начоенец, дебил? Кто черт задроченый? Да за такие слова бошку напрочь. Разорву, блядь, как грелку.

А, ты про этого козла. Ну, я понял. Глупо было бы. Между прочим, это все хуйня.

Жил я, жил в том домике на болоте. А баба у меня хорошая была. При чем тут Наташка? Ты соображаешь, в каком году это было? Наташку до этого на станции убили. Откуда я знаю кто. Черт. Нашли на рельсах изуродованный труп. Да не спи ты, брат лихой. Замерзнешь. Вот. Ладно. Все хорошо. Завтра только, учти, с самого ранья строго за клюквой. Я тебя сам разбуджу. Во сколько там у нас первая электричка? Ага, понял.

* * *

Стою я, значит. А курить охота, спасу нет. Помираю. Ну и выпить, конечно. Да и пожрать не мешало бы. Да не вру я. Передо мной гроб, а в нем девка. Сказал же — молодая, красивая. Лежит. Рядом стоит ее подруга. Высокая такая дылда. На морду лица очень страшная. Причем тут снять их? Дурак. Ты соображаешь вообще? Что мы, на блядки, что ль, собирались? Хотя да, да и да. Завтра обязательно... Но только после клюквы. Там полазить нужно как следует. А что ты хотел, брат лихой? Да дело не в этом. Пиздюк ты, Коля, если хочешь знать. Только не обижайся. Я знаю, что их в жопу ебут. Двигайся лучше. Развалился, как

конь. Мудила. Что рычишь там? Могу и ебануть. Запросто. Да шучу я, придурак. Успокойся. Все мы тут, Колян, свои.

Слушай, что дальше было. Лежит там, короче, в гробу девчонка. Лет двадцать, не больше. Сиськи, ножки там... Ей бы жить да жить. Радоваться. Ёбаный случай. Но почему так? Нет, только не в баню. Жуть какая-то. Во попался, блин...

Вспомнил все-таки. Как же память иногда отшибает. Жил я тогда в том домике на болоте с Валькой. Вот была сучка. Профура. Тебе рассказать, хуй поверишь. Мразь конченная. Ты ее знал, что ль? Да ну? Правильно. Работала в столовой. Потом перешла на спирт завод, а уже потом на железку, где ее и замочили. Кто? Ну, черти, ясное дело. Нет. Ты путаешь. Ту звали Ольга. Толстая такая. Из-за нее еще Пепел сел за нож. Орала сильно. Приревновал на станции. Там столько людей поубивали — гаси свет. Ну да, сивая по натуре, тупорылая. Грязная шкура, одним словом. Заебал ты тоже, товарищ. Откуда я знаю? А курить у нас совсем что ли, нет? Катастрофа. Пойти блевануть что ли? Не поможет. Нечем там блевать. Мы жуем разве, когда пьем? Желчью только если. Значит, шкура — она и есть шкура, как говорил Вовка Протез с Бакунина. Ебанись ты с горя, ёб твою

полуёб. Тоже друг. Тихо, не ругайся. Кругом нас подслушивают черти. Слышишь?

* * *

Давай лучше о хорошем, брат лихой. Вижу я, все стоят. Молчат. Прихуели малость. И вдруг эта длинная страшная заорала: «Батюшки, а чего ж ее так прет?!» И тут все эти люди как одурели просто.

А ты, Коля... Да ебать ту Люсю! В клюкву, я сказал, однозначно. Делов не знаю. Отказать. После, говорю, оттопыримся. Оттянемся, брат, по всей программе. В баньку сходим... Тьфу, блядь. Только хотел о хорошем. Не получается. Жизнь такая, Колян. Она сложная штука, если задуматься. Да. Ёбнуться можно наглухо. Слыхал ты, кстати, про один случай? Недавно. А ну его лучше на хуй и в пизду одновременно. Давай песню, брат лихой, споем на прощанье, чтоб ни о чем плохом не думалось. Тополя, тополя...

* * *

Не спится что-то. Заснешь тут. Пойла ноль, курёха давно скончалась. Во, вспомнил. Эта дылда, а на морду лица противная, просто ужас, страшно вдруг заорала: «Батюшки-светы, чего ж ее так

прет?!» Все смотрят: у покойницы живот начал расти. А эта кобыла и говорит, тварь неумытая: «Я знаю, чего ее так прет — ее Ленин ебёт!» Колян, без приколов. Хватает она ту молодую девку из гроба и давай ее бросать, кидать, подкидывать и бить о землю. Туда-сюда. Люди, конечно, озверели. Друг на друга бросаются. Кидаются. Кусаются и рвут на части. Пару человек прямо сожрали. Клянусь могилой. Ну, пойми конкретно. Ни вина, ни водки, ни курева. Хоть бы пива. Дак нет же — хуй соси. С ума посходили все. Там, короче, пиздец что твориться началось. Эта длинная тварь покойницей размахивает: то кому-то по роже долбанет, то о землю ударит со всей дури. Я припух, если честно. Думаю: надо дергать оттуда, а то пропаду. Но, представляешь, дружище, не могу сдвинуться с места. Ноги натурально отказали. Почки, сердце, легкие почти не работают. Какой там желудок. Давно вырезали. Два ребра только осталось, я тебе не говорил, что ли? А уродина эта все орет: «Это ее Ленин ебёт!» И покойницей во все стороны размахивает. Народ же страшно между собой грызется.

Я не понял, ты замерз, что ль, Колян, окончательно? Такой холодный. Давай споем напоследок: а ты такой холодный... Вот так и пожил я в том домике на болоте. И не хуёво было.

БАБИНИЧИ

Начнем издалека. Я праздновал тридцатник и пригласил в кабак «Нива» несколько своих близких друганов, которые оказались в итоге козлами. Вот слушайте, что там было. Выпили мы, пошли танцевать с девчонками. Их много, они такие красивые и все не против, вижу, со мной загулять. Еще группа играет знакомая под руководством Вовки, брата Светки Геры, с которой немало путешествовали по стране. Она умерла, кстати, недавно. Муж ее, хромой Ильич, попал в больницу, а Гера забухала на хате. Кто там с ней пил, неизвестно. Выписывается Ильич, а в квартиру войти не может. Ну, попросил соседа через балкон залезть, благо у него второй этаж. Тот слазил и говорит, что Гера мертвая лежит.

Но дело не в этом. Гуляем мы в кабаке по полной, и тут я спускаюсь вниз покурить, а там три кабана стоят и на меня неправильные косяки дают. Я в эйфории, весь такой супер, и девки меня любят и все вообще заебись, подхожу к ним и раз одного по ебальнику. Тут они трое на меня напали. А дружки мои так называемые хуй дернулись. Сам бился как мог. И оба же здоровые лбы. Но перессали, суки. Гандоны. Я с ними после этого никаких больше дел не имел. Вот так, пацаны, проверяется мужская бля дружба.

Потом я снимаю двух девок идвигаю к себе на Горку. Оттянулся с ними до утра и прогнал домой. Поспал часов до двенадцати, встаю, гляжу на себя в зеркало — под обеими глазьями по фингалу. Ну, надо ж хмельнуться срочно, только денег нет ни копейки. Все вчера с этими фуфлыжниками прорвал. Что делать? Надо в центр ехать и искать спонсоров. Стою, жду автобуса. И тут вижу официантку Вальку, мою соседку. Она в мотеле работает, и я давно с ней хотел закончиться, да не было повода. И вот нашелся. Сразу у меня мозга сработала: вот кто блядь меня седня похмелит. И точно, все чётко, девка быстро идет на контакт и предлагает поехать в мотель выпить коньяка. Берем тачку и едем. Платит, само собой, Валентина. Приехали, по-

пили коньячку на бережку красивого озера, и я вспомнил про своего верного другана Сашку Быкова, у которого тогда в каменном сарае был музыкальный бункер. Там мы охуевали под самый классный по тем временам музон.

Едем туда на Лавочкина с Валькой. Сашка охуенно рад нас видеть, ставит сходу пинкфлойдовский Энималс и идет принести закусь к нашей конине. И вот несет он грибочки там с картошечкой, а в бункере порог высокий, и Сашка как наебнется с этой тарелкой. Все грибы на земле оказались. Чувак смеется и говорит: щас еще принесу. Тащит по новой и опять на том же месте падает. Пиздец. Мы хохочем с официанткой не можем, и Сашка на полу ржет. С третьей ходки все ж занес пацан грибочки.

К чему я вообще все это вспоминать начал? А, да. Недавно был у Сашки в гостях. Он квартиру свою городскую слил и живет теперь в деревне Бабиничи. Место мне понравилось. Кругом лес, есть речка Смердянка и где-то подальше, говорят, озерцо. Не доходя речки, Сашка остановился, попросил меня дать ему выпить «Немирова», что я вез с собой, из горла, и помянул тех мужиков, что не дошли до деревни и рухнули здесь с концами.

Правда, баб тут совсем в Бабиничах не видно, зато мужики время от времени еще встречаются. Привез я Сашке по его просьбе блок сигарет «Перекур», макарон и масло подсолнечное. Он старый виниловый Пинкфлойд поставил, заполненный совсем Энималс. Улыбается довольный. Сели мы вечеряять. Только по первой выпили, в окно постучали, и показалась какая-то черная харя. Оказывается, это сосед друга, Толян, еле стоящий на ногах. Вошел и говорит прямо с порога: есть у вас что, мужики? Понятно сразу, что речь идет о деньгах на самогон. Мой друг, не думая и не мешкая ни секунды, сует мужику те сто рублей, что я дал ему на жратву. Его самого недавно уволили из водил, и теперь он живет на жалкое пособие в 800 рублей. Он, тем не менее, бухать не прекращает и, коль уже совсем сидит без денег, то идет в Липово, что на трассе, и просит дальнобойщиков выручить коллегу. Раз прикол был поздним вечером. Звонит Сашка мне на мобилу и пьяным голосом говорит: Алик, скажи ты барменше, чтоб она мне еще налила, а то она не хочет больше обслуживать.

Ладно, Толян берет деньги и спрашивает у нас: а дойду ли я туда, мужики? Самогон-то у них продают на БАМе за три километра от Бабиничей. Вот почему так много мужиков и померло у реч-

ки Смердянки, не дошедши до дома. Тут мой друг Сашка (он бывший экстрасенс) благословляет Толяна на подвиг, и тот, ёбнув рюмку «Немирова», с богом уходит.

Пока мы вечеряли с другом и я ждал автобуса, гонец наш так и не вернулся. Не знаю, дошел ли Толян до Бабиничей на сей раз или рухнул у проклятой Смердянки.

ЧУМА

Она крепко схватила меня за яйца в подворотне возле модной пивной «Кружка», где оттопыривались центровые смоленские маргиналы. Неглупые, порой талантливые молодые люди, выкинутые на обочину жизни проклятым сообществом злостных обывателей, карательных органов и нерезаных еще буржуев.

Мы пили все, что имелось в наличии в то чумное время: вечное вино «Анапка», роковой портвешок «777», крутую водку «Черная смерть» с черепом на баночке, предательский напиток «Макбет» и белорусскую отраву «Малина», после которой вас трясет болотная лихорадка и глючит. Мы бухали в подъездах, в подвалах, на кладбище (иногда ночью), на всяких лавках, в котельных и на многочисленных запущенных квартирах.

В «Кружке» Чума напилась и заснула прямо на столе. Никто ей слова не сказал. Она уже однажды навела в шалмане порядок, то есть разнесла все помещение и наразбивала посуды. Била бутылками и кружками обслугу, которая пыталась ее остановить.

Кругом рушились устои, вымирала нация, борзели менты, жирели и наглели чиновники, глумились буржуи. Многие из нас выпали в осадок, а тех, кто приподнимался, мочили в подъездах, взрывали в тачках. Такие, как мы, выродки, прозванные с чьей-то легкой руки «птеродактилями», плотно садились на стакан или иглу, спускали последнее или даже проссыпали квартиры за ящик водки. Мы не хотели замечать реальность. Слушали Нирвану, Моторхед, Эксплойтид, Мэрлин Мэнсона... Тусовались в «Бешеной лошади» или «Пиковой даме». Опускались. Попадали в дурку. Бичивали. Умирали.

Когда Чума проснулась, я отвез ее к себе домой, в свою разъбанную хрущёбу. Она выпила из горла бутылку паленой «Столичной», съела упаковку «Родедорма» и конкретно охуела. Что она творила! Выла и причитала, как буйнопомешанная. Разорвала на себе одежду и раздолбала вконец мою и так расхуяченную квартиру с жалкими остатка-

ми еще советской мебели. Кричала «хайль Гитлер» и хотела сделать себе харакири кухонным ножом. Металась по комнате и с грохотом падала на пол. Я боялся, что она скинется с балкона, и поэтому дал ей пиздюлей и пинками спустил с лестницы.

Она мне это припомнила. Дождалась, когда я вышел на улицу — и въебала сзади по башке какой-то железкой. Я истекал кровью, но решил не сдаваться. Кое-как дошел до больнички. Голову мне зашили без анестезии. Я стал действительно какой-то бесчувственный. Станешь тут при такой жизни. В палате съел чай-то лимон прямо с кожурой.

Ушел из больницы и с окровавленной перевязанной башкой носился по городу. Птеродактили меня поддержали и морально, и пойлом. Но ничего. У меня крепкие гены. Дед мой прошел всю финскую. Оба родителя воевали в Сталинграде, а отец еще дошел до Берлина. Дядька служил в НКВД... Потом защищал Брест и партизанил на Смоленщине. Тетка была снайпершой. Под Кенигсбергом в лесу вступила в поединок с немецким снайпером-асом и победила. Я говорю, у меня та еще родня. А вся моя жизненная дорога покрыта трупами безвременно рухнувших товарищей. Нас нещадно косила чума эпохи.

Несколько суток я провел в центре с пробитой башкой. Чистые граждане мной брезговали, зато бичи уважали и угощали последним самогоном. Временами до меня доёбывалась шпана, но все кончалось как-то удачно для меня и хуёво для них.

Чума, как выяснилось, искала меня по городу. Странно, что мы не пересеклись, но бывает. Бегала повсюду, как охуевшая ведьма. Попала под машину, получила сотрясение, затем вскрылась бритвой и отметилась в дурке, сбежала оттуда, ширнулась на халяву героином, избила в трамвае какую-то пожилую гражданку и в итоге сломала себе ногу.

Когда она нарисовалась на пороге моей квартиры — на костылях, с бутылкой водки в руках и с идиотской улыбкой на блядской роже — я даже обрадовался. К тому же, в гипсе у нее была заныканына тысяча рублей.

Мы трое суток не просыкали и поминали погибших товарищей. Хмелили и местных птеродактилей. Глубокой ночью поймали тачку и поехали к бывшему панку Мартову. Он меня уважал. При моем появлении сразу же появились водка и прличная закуска. Выпили с хозяином за погибших, и он стал нам читать свои стихи. Сквозной темой в них было разложение, разрушение, умирание.

Чуму такая поэзия цепляла. Потом смотрели по видео «Апокалипсис наших дней», затем «Мертвца», следом «Сто двадцать дней Содома», и вдогонку еще «Окраину». После чего шла только крутая порнуха. Мы еще пили, о чем-то спорили, кричали. И я уснул.

Мне снились стройные ряды скелетов, поднимающиеся вверх по Б. Советской, выходящие на ул. Ленина, доходящие до пл. Восстания и строящиеся там в шеренги. Они несли красные флаги с черными черепами. Среди покойников я узнавал своих верных товарищей суповой юности.

Чума, одетая в черное, неистово директировала с балкона Дома Советов. Звучала адская музыка. Скелеты готовились к последнему штурму.

Тут Чума разбудила меня и приказала оттряхать ее в зад. Я отказался. Ответил, что устал смертельно.

Со злости она разнесла все в квартире бедного Мартова, который забился в угол и крестился. Чума порезала ножом диван, ковер, картину, изображавшую свастику. Перерезала горло большому персидскому коту с мордой почти человеческой.

ЗАТМЕНИЕ

Маруся, ты права, как обычно. Все абсолютно точно. Справедливо. Я тебя нисколько не осуждаю, милая. Ты сделала свой выбор. Ведь это такое время... Кажется, все куда-то катится со страшной силой, улетучивается, распадается. И в природе полный бардак. Зима, Рождество. А снегу нету ни грамма, одна грязь на улицах Смоленска. Говорят, будет затмение.

Как быстро темнеет в этом году, Маруся, уже в три дня — хоть глаз коли. А если тебя ограбят или вставят пику в бок, то ничего удивительного. Обычное явление нашей непростой жизни, нельзя выходить на улицу в хорошей одежде, лучше в фуфайке и кирзе, так надежней. Сообщения же по радио и теленовости напоминают сводки бо-

евых действий. Повсюду вокруг нас идут сражения, а жертв так много, что не хватает никакого даже самого больного воображения. Отключиться от всего хочется. Как никогда ты права, Маруся.

Какие у тебя холодные, однако, руки.

Тут в гостях у одного знакомого бизнесмена как-то вечером я почувствовал себя, знаешь, словно в бункере Гитлера накануне последнего штурма Рейхстага. Помнишь знаменитую картину Кукарников? По полу валяются пустые коньячные бутылки, на столе остатки консервов, пачки американских сигарет... Полумрак, черные шторы, спертый воздух, бледные испуганный лица. Это была еще приличная компания, ты не подумай плохого, Маруся. Один только из них, поэтическая, видимо, натура, нажрался каких-то крутых колес, выбежал во двор голый и стал орать что-то дикое про конец света. Пока не приехала «шестая бригада», из дурдома.

Да вот еще хозяин квартиры, к моему удивлению, оказался голубым. А не подумаешь. Мужик вроде нормальный. Хотя это теперь не редкость. Расплодилось их как тараканов. Даже в газеты дают объявления на предмет знакомств, открыто призывают друг друга к сожительству. Раньше-

то их сажали, а теперь власти почему-то терпят, вот в итоге и приревновал хозяина его сожитель к флейтисту из филармонии. Такому женственно-му, длинноволосому, манерному. Набил ему морду, разбил очки дорогие с английской диоптрией.

Хозяин, понятно, очень расстроился, всех гостей прогнал, Маруся, кроме почему-то меня. Налил нам по стакану вермута. Хорошего, ты не подумай, итальянского. А потом он повез меня к писателям, по его словам, лучшим из лучших. Это под Рождество, я напоминаю тебе, и по радио обещали затмение.

Долго ехали на тачке через весь город. Плевать, не мне платить, и ладно.

О, что за грудь, дорогая, какие нежные сосочки. Разреши потрогать, раз я уже все равно расстегнул кофточку и снял твой лифчик. Ты так любила нашу родину, Маруся...

Короче, там, у писателей, из которых я никого не знал, в центре комнаты стоял большой стол, накрытый для праздника. В углу скромная елочка, по телевизору показывали рождественское богослужение. Теперь любят у нас, Маруся, эту церковную канитель. Попы у нас нынче в моде. Такой

мы народ, переменчивый. Начни тут по радио ис-
лам пропагандировать, так многие в мусульмане
подадутся, я уверен. А эти священники, между
прочим, только наживаются на нашей беде.

Ладно, за столом, что самое главное, сиде-
ло человек двадцать писателей, и все, как выяс-
нилось чуть позже, были пиарасами. Вот тебе
картинка из Русского музея. На вид вполне при-
личные люди, неброско одетые. Пили «Пшенич-
ную», закусывали по-простому: салом с отварной
картошкой, консервами томатными. Скорее всего,
реалисты, я прикинул. Общались между собой по-
хорошему, потом пошли танцевать парами, кто
с кем сидел рядом. Обнимались, целовались, лю-
безничали. Тут я все и понял, дорогая моя.

Ты знаешь, что характерно, Маруся, на следу-
ющий день, страдая на отходняке, как падла, по-
лучаю я письмо из родной деревни Самодурово.
Пишут земляки, и среди последних новостей, ко-
торыми они меня постоянно балуют, вот такое со-
общение: почтальонка наша Любочка, всеобщая
любимица, пошла на доставку корреспонденции
и не вернулась. Оказывается, дошла женщина до
ближайшего пруда и ухнула туда в прорубь пря-
мо с тяжелой сумкой, в которой, ты понимаешь,
масса всякой интересной информации: газет,

журналов и писем, где одни только стоны и жалобы друг другу на мрачную жизнь.

Я снимаю твою юбку. Лады? Какие у тебя гладкие ножки и прохладные тоже! А что за животик, прямо прелесть! Такой беленький, как первый снежок. Жирноват, правда, да ничего, я это люблю. Целую тебя, милая, в твой пупок.

Я бежал тогда из этого притона, милая моя, прихватив с собой бутылку водки. Хотел зайти к знакомому художнику, посидеть у него по-человечески, без извращений побазарить за искусство. Застал его вместе с женой на лестничной площадке, у дверей их квартиры. Никак не могли войти почему-то. Обои пьяные в раскатень, да к тому же замок засело. А через глазок было видно, что в квартире кто-то есть. Там горел свет, ощущалось какое-то движение. Грабители, возможно. Ничего удивительного, сейчас это случается сплошь и рядом. Бомбят хаты, прямо эпидемия.

«Ах ты, блядюга! — психанул чего-то художник и заехал своей жене изо всех сил по морде. — Блядюга! Тварь ёбаная! Сука!» И врезал ей еще раз со всей дури. Стал избивать просто из-уверски свою супругу. Вот они, Маруся, наши ин-

теллигенты. Опустились все, разложились. Что за смутное время!

Я целую твои ножки, можно? Начиная с пальчиков и все выше и выше. Ух, хорошо! Аж мороз по коже. А сам вспоминаю непроизвольно, как один белорус, объевшийся националистической пропаганды, орал намедни в трамвае: «Погубили, проклятые москали, нашу скромную белую родину! Испоганили нежную нашу Беларусь, чертовы кациапы, стрелять вас надо через одного!» И плакал, зажатый намертво на задней площадке битком набитого вагона. В Смоленске, в самом центре, Маруся, нашей России. Да в другое более спокойное время ему бы так нарезали, подонку, что не доехал бы до своей Синеокой. А тут ничего, молчат задроченные россияне, никакой реакции. Народ стал у нас равнодушный, до того отупели, что погенились даже пристыдить гада. Пусть болтает, раз свобода слова. Вместо этого вдруг набросились на своего мужика в шляпе, мол, это партократ херов, вон наел морду, тунеядец, загораживает аж весь выход, вернее, задний проход, пройти невозможно. А белорус все орал, как сумасшедший, я не выдержал и решил пересесть на другой трамвай.

Долго сидел, дорогая, на остановке, ожидая следующий номер. Ехать-то надо, как ты считаешь?

Между прочим, снимаю твои трусики, обна-
жаю... не будем спешить, однако.

На остановке той сидели вместе со мной еще
два плохо одетых типа и вовсю материли прави-
тельство, буржуев и заграницу, пребывая, как и я,
в шоке.

«Наивный, — начали просвещать меня эти
братья по несчастью, оба уже пожилые, опыт-
ные, не разбитые жизнью, перенесшие и немец-
кую оккупацию. — Запомни, — сказали, — мо-
лодежь сейчас нигде не работает, спекулирует
только смыслами. Хулиганит и озорничает. Рас-
пустилась молодежь дальше некуда. Порядка нет
потому что. Вот немцы, те умели заставить нас
работать. Только, бывало, остановишься передо-
хнуть, как дадут палкой, сразу начинаешь обрат-
но, как миленький, вкалывать. Видно, нужен нам
новый Гитлер, без него нельзя тут, балуемся мы,
портимся».

Выходило у них, Маруся, что только фашизм
мог отчасти спасти гибнущую Россию. А тут еще
непонятно откуда взявшаяся старушка стала рас-
сказывать про свиней, которые, судя по ее расска-
зу, прямо жрут друг друга с голодухи, а недавно
пьяная свинарка Дарья упала к ним туда случай-

но, так съели беднягу, одни резиновые сапоги от нее остались.

«Кстати про свиней, — сказал, подходя к нам, небритый не первый уже день мужик в потертом пальтишке с оторванным карманом и с окровавленной рожей, — тут намедни шурин мой Никодим забил борова. Опалил его, как надо, только хотел заносить в хату, подъезжает «скорая помощь», выходят из нее два амбала, санитары, бьют шурина без разговоров по ебалам, ложат борова на носилки, как больного, прикрывают сверху одеялом и быстренько уезжают, как и не было их. Такие вот нынче дела творятся, граждане».

Я вспомнил тут, милая, почему-то разговор свой последний со своим старым знакомым, Кандалом Колей, когда распивали с ним с ним поллитру у него дома. Он рассказывал мне про конфликт один свой.

«Вот как с тобой, — говорил Коля, — я с этим идиотом здесь сидел, выпивали литруху, и он мне вдруг заявляет, что я козел и на ментов работаю, сука, да за такие вещи убивают сразу. Ведь я ж людей никогда не сдавал, гадом буду. И пидарасом тоже не был, ты знаешь. Ну и двинул ему в ебло сразу. Он — брык с копыт моментально, лежит,

падла, отдыхает. Я вижу топор валяется рядом, хватаю его и начинаю шинковать этого черта...»

«Что ты с ним стал делать?» — не сразу понял я товарища. — «Ну, членить начал приурка». — «А как ты его, слушай?» — «А как Бог на душу положил, так и разделал».

Ладно, все, Маруся! Теперь ты передо мной вся как есть обнаженная. Я ложусь рядом.

Что за жизнь у нас, в самом деле? Какое-то затмение. Взять хотя бы наших соседей этажом ниже. Кабашей этих. Ты отлично их знала. Ну как же, простые ведь русские люди. Она толстая, красноносая, вечно зимой и летом в фуфайке, носит постоянно жратву своим свиньям в ведерке. Он — тощий такой, быстрый, резкий. Постоянно в кирзе и рваном ватнике, — притом всю дорогу, сколько его помню, поддатый. И ничего. Жили же нормально до последнего времени. А тут слышу, Маруся, сидя в туалете, как Кабашиха орет, что лично подожжет Белый дом и взорвет на хуй Кремль. Кабаш сам бубнит что-то непонятное, но явно страшное. Потом они начинают ругаться... Я вставал, родная, в три часа ночи, чтобы поссать, понимаешь, и слышал их дикие крики. Достали просто своим идиотизмом.

Наконец Кабашиха вылетела полуодетая на лестничную площадку и заорала, что Кабаш ее сжег всю свою одежду и выбросил в окно все запасы еды: муку, соль, сахар, макароны. Основную жратву то есть. Якобы в знак протеста против антинародной политики правительства. А ее саму хочет зарезать, изверг. Призывала соседей спасти невинную душу. Только всем сейчас, ты знаешь, дорогая, абсолютно по херу, если кого и убьют, тем лучше даже, другим больше жратвы достанется.

А тут еще у Кабашей случилось несчастье. Большое горе. У них украли всей курей в сарае, а из подвала одновременно в тот же день вынесли варенье, маринованные грибы, консервированные овощи... Как зимовать?

Неизвестно. Тут они совсем ошалели. Кто кого спровоцировал, я не знаю, врать не буду, факт только, что случилось это в момент затмения. Уже и по радио объявили. Я сам чуть живой ходил, какой-то ужас меня преследовал. В общем, Кабаш просто одурел от всех этих дел. Исколол свою толстую бабу ножиком, ран сто ей нанес, наверное. Она орала страшно, только никто не обращал никакого внимания, само собой. После того как сдохла окончательно, он сварил ее в баке, в ко-

тором они много лет совместно готовили пищу своим свиньям, и съел в принципе родного человечка. Наевшись, сам пошел в милицию и во всем повинился.

Такие дела, Маруся. Хорошо хоть ты отравилась, родная, умерла вовремя и ничего больше не видишь. Права ты как всегда, дорогая моя.

ТАМ, ГДЕ КОНЧАЕТСЯ АСФАЛЬТ

Деревня Бабиничи стала для меня притягательным местом. Отличный воздух, лес, в котором черника, земляника, грибы, река, озерцо. Решил приобрести там старенький домик. Как у моего товарища Валинтовича. Тот пообещал содействовать. Знает, мол, главу местной администрации, Михаловну, а с ее батькой, Мишней, майором контрразведки, постоянно пьет. Я же надеялся грешным делом, что мой друг, экстрасенс, воздействует на главу администрации, и домик отойдет мне бесплатно.

Приезжаю к Валинтовичу с утра пораньше. Он встречает меня на трассе уже изрядно поддатый и, как обычно, останавливает у речки Смердянки, там где кончается асфальт. Говорит:

— Давай бутылку, Алик.

Я протягиваю ему бутылку с винтовой пробкой.

Валинович крестится, поминает всех мужиков, которые умерли здесь, не дойдя до Бабиничей с БАМА, где Фёдорыч продает неплохой по здешним понятиям самогон. (БАМ — небольшое поселение, состоящее из трех-четырех задрипанных пятиэтажных брежневок, мы еще к нему вернемся по ходу рассказа). Выпивает Валинович, крестится, молится за упокой душ рухнувших тут навеки односельчан и ведет меня в Рудаки, где обитает Миша, контрразведчик, отец Михаловны, главы администрации, которой принадлежат все близлежащие поля, луга и сады. Проходим, кстати, Обрубово — всего несколько домиков на подходе к Рудакам. Первый дом очень даже в неплохом состоянии.

— Здесь Вовина жена живет, — говорит Валинович.

Вова, я потом узнал, жил тут когда-то, но попрограммировался с женой и подался в Бабиничи, где его пригрел Валинович. Сперва Вова спал у моего товарища на русской печке, а потом Валинович его поселил в доме напротив, за которым ему велено кем-то присматривать. Кто ему велел, не мое дело, я не вникаю. Смотрит и ладно. Там огород у него, банька и туалет деревянный.

В Рудаках нас встречал черный пес Жук и пара почерневших от бухалова рож, живущих напротив Миши. Сам контрразведчик, когда мы вошли в хату, долго не мог слезть с печи. Все охал, ахал да стонал тяжко. Жаловался из темноты, что болят ребра и грешил на спирт, который принесла вчера на ночь глядя какая-то Алка. Наконец, вылез из закутка мужичонка в рваном тельнике. Сел за грязный стол с остатками какой-то жратвы и сразу начал ругать Валиновича, который, по словам хозяина, достал его своим идиотизмом. Валинович, молча, налил Мише стакан. Контрразведчик выпил и закурил свою «Приму».

Воняло в хате невыносимо, хотелось на свежий воздух, но нужно было обсудить предстоящую сделку. Тот, однако, выпив еще полстакана, обсуждать ничего толком не хотел, а только жаловался на то, что ему очень хуёво да ругал Валиновича, который проебал ему дескать все мозги.

— А если хотите с Нинкой поговорить, то она скоро приедет. Привезет мне продукты...

Наконец-то хоть что проясняться начало. Валинович тотчас набрал по мобилье номер Михаловны, однако она послала его на хуй и сказала, чтоб мы убирались из хаты в течение получаса, иначе она приедет с ментами.

— Мянтами грозится, — протянул Валинтович, который, прожив в Бабиничах три года, приобрел какой-то белорусский акцент. Я сразу вспомнил, как уезжая в последний раз из Москвы, зашел в привокзальную забегаловку, взял пива и разговорился с соседом по столику. Тот оказался белорусом и стал жаловаться (мне мужики часто исповедуются) на то, что «московские мяньты его обули, отобрали пятьсот долларов». Я угостил белоруса пивом, и тот обещал приехать ко мне в гости и привезти сала.

На следующий день мы пошли в Комиссарово, где находился офис Михаловны. Она оказалась вполне милой молодой женщиной лет тридцати пяти. Отчитала Валинтовича за то, что тот спаивает ее батю, и любезно занялась мной. После короткой беседы отдала мне домик умершей гражданки Рыкаловой бесплатно. Вот и все дела. А ведь по сути, если разобраться, не будь Валинтовича с его сверхчеловеческими возможностями, хуй бы мне что обломилось.

На обратном пути в Бабиничи через поселок Гусино Валинтович рассказал мне про нашу общую знакомую Людмилу Митрофанну, которой уже ёбнуло восемьдесят семь лет.

— Митрофанна собралась ласти склеивать, Алик, — повествовал Валинович, потягивая из бутылки самый дешевый в округе портвейн, который я купил ему в гусинском магазине. — Пять лет назад, когда я пропил свою хату, обратился к ней — мол, давай я за тобой присматривать буду, а ты отпиши мне свою квартиру. Митрофановна послала меня на хуй. Прямым текстом. Вот. У нее квартира очень хорошая, трехкомнатная. Муж был секретарь райкома. Митрофанна раньше бухала по-черному, толстая была. Я ее тогда вылечил. А теперь ее давление ебёт, помирает и просит, чтоб я ей помог. Ну, вхожу, конечно, в транс, только я тебе отвечаю — жить ей один хуй осталось недолго...

Не доходя до БАМа, где местные алкаши отоваривались самогоном у Фёдрычка, нас нагнал какой-то мужик на разбитых «жигулях» и предложил подвезти. Залезли, познакомились. Валинович угостил Серёгу портвешком. Тот принял с благодарностью, так как очень болел после вчерашнего — напился с другом, и тот без спроса поехал кататься на его тачке. В итоге помял крыло, и багажник теперь не закрывается. А сейчас везет Федорычу металл в обмен на пойло.

В Бабиничах нас ждал Вовка, которого в свое время пригрел Валинович у себя на русской печ-

ке, и дачница Алексеевна, которая подбивала ко мне клинья.

— Ты молодой, — все льстила мне поддатая бабенка, надеясь, что я поставлю им бутылку вступных как новый житель деревни.

— Да какой он молодой, — противоречил ей Вовка, — он старше меня. Вовке лет тридцать, но выглядит он на все сто, как, впрочем, и другие местные мужики.

— А ты на себя посмотри, — смеялась Алексеевна, — почернел весь, щетиной зарос. Бриться када будешь?

Короче, им ничего вступного не перепало от меня, да еще Валинович распиховался от недопития и прогнал их чуть ли не пинками.

Теперь о том, что случилось у Вовки с его женой.

Приходит он раз домой в Обрубове и чует, что-то не то в хате. Поглядел кругом и видит — коровы нет. Оказалось, его жена променяла корову на какие-то сраные старые «жигули». Вовка тогда сразу собрал вещички и подался в Бабиничи, где его и пригрел Валинович.

ЗАПИСКИ ПРО ОХОТНИКА

В те далекие годы, когда я еще баловался ружьишком и посещал всякие отдаленные уголки нашей губернии, судьба свела меня с замечательным человеком и прирожденным охотником. Жил он в глухой деревушке, окруженной со всех сторон лесом. Охотиться Тимофеич начал в раннем возрасте, когда в тех краях еще была школа да медпункт приличный, и всем здоровым мужикам и бабам хватало работы. Да и дичи имелось вдоволь.

Теперь школы там нет, больницы тоже. Из мужиков осталось три человека. Под Новый год вот еще Колян умер. Когда ударили первые неслабые морозы, он пьяный упал в сугроб и проспал там всю ночь. Утром собеседники его нашли и привели в хату. Лечить-то нечем, кроме самогона. Ко-

лян руки отморозил, стакан взять не может. Кое-как выпил. Но к ночи все равно умер мужик.

Но дело собственно не в этом. Я совсем о другом речь веду. Тимофеич мой отличный был охотник. Поначалу еще в ранней молодости ставил петли на зайцев, которые теперь, к слову сказать, перевелись все, так как поля пустуют и нет никакого корма ушастым. Позднее он подзаработал денег и приобрел одностволку и верного пса. В лесу собака находила притаившегося зайца и начиналась погоня по кругу. Надо знать вам, что беляк обязательно возвращается к месту своего былого сидения. Тут и бей его, не промахнись только, а то следующий круг у него будет еще шире.

Весной, объяснял мне опытный Тимофеич, заяц линяет и вообще дуреет. Подходишь к нему вплотную, а он только трясется и уши назад за jakiывает. Мочи его тогда по голове прикладом, вот и все дела.

Тимофеич мой очень рано потерял семью. Умерли отец с матерью, потом жена и двое детей. Все хозяйство осталось на нем. Да еще ведь в колхозе крутил барабанку. Большой он всю жизнь труженик был. Работал не покладая рук и в итоге, конечно, надорвался. Ему и сорока нет, а он уже

инвалид первой группы. У него и грыжа, и геморой, и простатит, и сердце с почками далеко не в норме. Тем не менее, трудится человек и охоту не бросает. Вот только тетеревов что-то совсем почти не осталось в местных лесах, жалуется он мне. А тут недавно такая удача! Сбил большого петуха, не выходя из машины. Глухарь сидел на верхушке елки, близко подъезжать опасно, так как это был токующий. Интересно, что глухарь даже сбитый будет продолжать токование.

Итак, остановил Тимофеич свою машину в ста метрах от елки, не глуши мотора, и стал целиться из своей верной одностволки. Промахнуться никак нельзя: улетит петух сразу. Хорошенько приладился мужик, несмотря на вибрацию в кабинке, и сделал меткий выстрел. Глухарь тяжело рухнул на снег.

Дома Тимофеич поинтересовался, чем же питается эта большая птица. Вскрыл ему зоб и увидел там одну только кору, а в желудке исключительно камни. Какое, однако, неприятливое создание. Себе бы так, подумал наш охотник.

Однажды Тимофеичу крупно повезло: он застрелил лося. Разделал его, отрезал кусок, стал варить, а пока варит, достал бутылку свойского самогона.

Особый случай был с медвежатиной. Забил как-то охотник медведя. Снял с него шкуру. Смотрит — лежит перед ним настоящая женщина. Чудо. Позвал он гостей, среди которых оказалась одна совершенно непьющая бабенка. Она хотела просто попробовать хоть раз в жизни медвежатины. Сидят мужики в тимофеичевой хате, выпивают, закусывают, а у бабы этой вдруг красные пятна пошли по всей роже. После дело еще хуже стало. Глядят люди: у нее шерсть растет на теле. Пришлось гнать ее в лес из деревни от греха подальше.

А вот еще вышла с Тимофеем занимательная история. Пошел он уже ближе к вечеру в лес. Так, на всякий случай проверить, нет ли какой зверюшки. Скот домашний к тому времени у него весь сдох, а жрать-то хочется. В хозяйстве разруха, колхоз ничем не помогает, пенсию годами задерживают.

И вдруг видит наш охотник здоровую кабаниху. Только она его тоже заметила и двинулась в направлении мужика. Ну, тот из верной своей одностволки пальнул и ранил свинью. Сначала подумал, что убил. Пошел домой за веревкой, чтоб донести ее до хаты. Возвращается, а кабанихи-то и нет. Только кровавый след на снегу виден. И ведет он в чащу леса. Пошел Тимофеич по следу. Думает, что далеко не уйдет раненая добыча. Нагнал

все же свинью, а та обернулась, посмотрела красивыми глазьями да как поперла на мужика. Страшная, злая, вся в крови. От кабанов известно одно спасение — надо лезть на дерево. Как охотник на ту елку без всяких веток вскочил, просто чудо. Кабаниха побилась, побилась о ствол и рухнула в изнеможении. А у Тимофеича, как назло, патроны кончились. Тогда он додумался. Прикрепляет к ружьишку большой нож и идет так на зверюгу. Как бы в штыковую атаку. Ударил только один раз, и та уже больше не дрыбалась. Связал он ее, но до хаты дотащить уже сил не осталось. Думает: завтра утром приду и заберу. Приходит он с утра пораньше и видит: какие-то толстые начальники пакуют его родную кабаниху в свой грузовичок. Что тут поделаешь? Не палить же по мудакам из одностволки. У них карабины с собой имеются.

Однако наш охотник это дело так не оставил. Стал вечерами подстерегать начальников, когда они, припозднившись, возвращались откуда-нибудь не совсем трезвые. Он их подкарауливал в темном местечке и валил из верной одностволки. А чтоб добру не пропадать, тащил этих кабанов домой и ел за милую душу под свойский самогон. Мясо мягкое, не то что у того лося. Питалось то начальство очень хорошо. Вот таким образом решил наш Тимофеич свой продовольственный вопрос в ту зиму.

НАДЕЖДА

В самом начале нулевых Сашка Быков влез в большие долги и, чтобы рассчитаться с кредиторами, слил свою двухкомнатную хату в Сартировке. Отдал деньги бандюганам и что-то еще поимел на продаже. Оставшихся после недели дикого пьянства денег едва хватило на покупку домика в деревне.

Три года прожил он в Бабиничах. Пьянствовал, корешился и дрался с местными, халтурил, побирался на трассе. Наконец такая жизнь его конкретно подзаебала и он решил перебраться в Шахновск. Любыми путями. Была у него в пригородной Сартировке старая знакомая Танька, толстая и больная. К ней он и подселился да устроился куда-то водилой. Пожил какое-то вре-

мя, но не выдержал, сорвался. Запил — и Танька прогнала Саньку.

В деревню ему обратно неохота, там только пить остается да драться с местными, а в городе жить негде. Кранты. И тут вдруг узнает от своего лучшего друга Дубины с Покровки, что у его второй жены Надьки умер ее сожитель. Сашка его отлично помнил, так как этот доходяга подселился к Надежде еще при нем. Неприятный был. Из-за него он и отвалил от бабы.

И вот решает Санёк воспользоваться моментом и проверить свой последний шанс. Идет в медгородок, где обитает Надежда. Звонит по домофону, никто не отвечает. Быков к соседям обращается, что, мол, он в квартиру к Злыдневым, откройте, пожалуйста. Открывают. Поднимается еле-еле на восьмой этаж: лифт не работает. С одной мыслью в башке — курить надо бросать.

Дверь в квартиру вся изрезана, исписана матерными словами и еле держится. Не заперта. Быков был трезв и несколько колебался, входить ли. Однако желание поселиться и предчувствие, что повезет, все же победили. Входит. Квартира запущена. Везде грязь, паутина, окурки валяются. Мебелишка вся старая, то есть та же, что была

пятнадцать лет назад, когда он проживал здесь какое-то время, только уже прилично пообветшавшая.

Сама Надежда спала в большой комнате на старом диване. Он ее растолкал, она смотрит мутными глазами, не узнает. Говорит слабым голосом: наливай мужик, чего микрофонишь. Сашка спрашивает, есть ли у нее чево. Баба сует руку под диван и достает бутылку с пойлом, мутным, как ее взгляд.

Выпили они, покурили. И только после третьего полстакана до Надьки дошло, кто перед ней сидит.

— Ты шоль, Сашка? А ёбтвою. И где ж ты был все эти годы? Какой страшный стал, божештымой.

Быков ей сразу всю свою подноготную выдал. Какой смысл темнить своим людям? Так мол и так, хату продал за долги, жил в деревне, пил, дрался, халтурил. В открытую пошел.

Надька выслушала и на бывшего мужа набросилась. Ах он скотина, подонок, мразь, козел, пидор и так далее. Что ж он от нее скрывался так долго. Она ведь его в свое время выбрала только

после того как весь Шахновск переебала. Полюбила даже. Кажется. А он так подло свалил. И девочку ей оставил. Теперь Машка уже взрослая, главным бухгалтером работает и втыкает в Интернет. А ведь Быков, гад, дочке свою квартиру в Сартировке обещал, которую проссал так бездарно.

Санёк молчал и терпел все обиды. Базара нет, виноват, не отрицает.

— Ладно, давай еще выптем, — говорит Надежда и достает из-под дивана следующую бутылку. — Только ты отвернись, я переоденусь.

Баба, конечно, тоже изменилась не в лучшую. Худая, испитая, облезлая. Сиськи виднеются дряблые совсем. А говорит, что работает администраторшей в ресторане. Да, наверное, врет, дешевка, скорее похоже, что уборщицей. Троё суток работает и трое бухает.

Выпили они еще. Надежда размякла и спрашивает:

— Ты у меня поселиться хочешь? И не думай. Машка не разрешит. Она говорит, что ты ей свою квартиру обещал подарить, а сам бездарно про-

пил. Нахуй, говорит, мне такой отец. Она у меня девка умная. Красивая. Выучилась, щас хоршо зарбатыват. Без тебя одна ее растила. К тому же, ты ее обидел. Не помнишь? Давай вспоминай.

— Чем же я ее обидел? — начинает вспоминать Быков.

— А вот вспоминай... — настаивает Надька и шарит бычки в пепелке на полу.

Так они разговаривали, выясняли отношения. То ругались, то мирились и предавались воспоминаниям о бурной молодости. Это все не очень интересно. В общем, Надежда позволила Сашке пожить у нее трое суток, пока они беспробудно бухали. Однако как только ее выходные кончились, выгнала мужика на хуй и велела больше не появляться, потому что злая была на отходняке, а похмеляться было невозможно: к одиннадцати ей на работу в кабак где-то в стороне РТС.

Так что пришлось Сашке Быкову все же вернуться в деревню Бабиничи и продолжить привычный образ жизни — пить по-черному, пиздиться с местными, иногда халтурить и побираться на трассе.

ВОЗМЕЗДИЕ

В самом начале нулевых, ближе к вечеру, я зашел в магазин электротоваров на медгородке, чтобы присмотреть себе телевизор подешевле. Полгода назад у меня бомбанули квартиру, забрали телек «Самсунг» и видак. Виноват сам, конечно, потому что бухал где-то, а потом долго лежал там невменяемый. А хотел ведь на базар съездить купить куртку да встретил Редю, ну и понеслась. Начали во дворе левой, как обычно, водярой, а как я на той блатхате очутился, не помню. И в это самое время мои знакомые наркоманы, пацан и баба, которые уже выставили несколько хат в нашем районе, сломали дверь моей квартиры 55 на втором этаже монтировкой и забрали телек с видаком, лишив меня основного развлечения. Понятно, что телевизор я редко смотрел, а в ос-

новном брал всякие фильмы, ужасы и, само собой, порнуху, на прокат.

Я, конечно, наказал уродов и отпиздил их той же монтировкой, когда немного отошел от пьяники, только телек и видак мой они успели двинуть цыганам на Поляне, где торгуют наркотой. К тому же, их вскоре прихватили менты и хорошо посадили.

Жить без телевизора и видака неинтересно. Как будто ты в девятнадцатом веке. Все так тихо, плавно. Книжки стал почитывать, даже «Войну и мир» до половины, и бухал довольно умеренно, потому что как-то спокойнее жить стало. Без этих ужасов, которые на экране что в фильмах, что в новостях. Не поймешь, где круче. Уже порой сны от реальности не отличаешь, все как-то смешалось в одну беспорядочную блядскую кучу.

Случилось эта трагедия весной, а к сентябрю я подсобирал деньжат (одна мне халтура перепала, о которой не хочу тут даже заикаться, потому что это чревато) и уже готов был купить недорогой телевизор.

Зашел я в этот магазин и стал на телеки смотреть. Их много и все почти показывают первую

программу, по которой идет передача «В мире животных». Покупатели меж рядов присматривают себе аппаратуру и поглядывают на экраны (животные, гы-гы-гы на животных). Но на двух-трех телевизорах показывают по НТВ какой-то вроде фильм-катастрофу. Там самолеты падают на небоскребы в Нью-Йорке. Несколько минут я внимательно следил за событиями. А вот уже один самолет кружит над Белым домом... И тут вижу значок CNN внизу и надпись Live. Да неужели?

Я долго еще взволнованно пялился на экран. Вот это шоу, когда такое увидишь живьем. Странно, что никто из посетителей вообще не обращал внимания на происходившие за океаном события. Да им, верно и по фигу это было, козлам, которых волновали в этой жизни одни лишь сраные телевизоры как предметы и прочая хуйня. Только одна старушка неподалеку от меня, вся такая из прошлого века, произнесла задумчиво: «А ведь американцы в войну нисколько не пострадали...».

СЫЧЁВКА

Вот говорят — не верь приметам. А я убедился, что приметы не врут. И вот рассказ на эту тему. Еду я как-то раз на автобусе из Москвы обратно в Смоленск с Володей Марковым. Он автор книги стихов «Тринадцать сексуальных маньяков», общался когда-то с Осмоловским и теми девочками, которые еще давным-давно выложили своими телами на Красной площади слово ХУЙ. И вот на подъезде к городу Гагарину, где на обочине стоит слово ГЖАТЬ и есть несколько кавказских заведений (и пахнет мясной жратвой), автобус обычно останавливается, чтобы люди могли поссать, покурить и размять ноги. Ну, и поссали. А Володя купил литровую баклажку пива.

Автобус тронулся. Мы пьем, болтаем, вспоминаем, как я в ЦДХ на обсуждении премии за ра-

дикальные тексты послал всех на хуй и в пизду, за что меня охранники вынесли из зала, как Льва Троцкого из Советской России. И тут меня опять приперло поссать. А ведь зима, скользко, и у автобуса херовое сцепление — если станет автобус, хуй потом тронется. Я это понимаю, Володя понимает, пассажиры (большинство бухие) тоже понимают. И очень понимает водитель.

Однако мне терпеть больше невмочь. Иду к водителю и объясняю ситуацию. Тот мне резонно отвечает, что, мол, ты же видишь, как автобус идет еле-еле. Понимаю, говорю, но что делать, жизнью одна. А вы так всегда, водила меня укоряет, нажретесь, а потом вам остановливай, где попало, вам-то похуй, а что если мы вообще станем. Ты представляешь, что будет?.. Я прикинул. Тоже правильно, но что ж мне делать. И тут я увидел указатель на Сычёвку — и меня озарило. Говорю водиле: видите впереди горочка? Тормози на ней, а потом автобус легко пойдет вниз.

Тормознули все ж. Я поссал по колено в снегу. И автобус благополучно покатился вниз. Катится дальше и моя история.

И что ж вы думаете? Это я по поводу Сычёвки... Приезжаю к себе в Смоленск на улицу Ленина, где

снимаю комнату у медбрата Лёшки, а там сидит рыжая злая девушка, и в ходе короткой беседы выясняется, что она из Сычёвки, бросила своего парня, бездельника, и вот она снимает жилье тут на Ленина.

В те дни я как раз забухал. Сначала весело было, дружков всяких встречал — Вакуню, Батю, Юденича, Коломина... Последний как раз допрыгался. У него мания — если подопьет, начинает к людям приставать и провоцировать. Узкий круг товарищей его понимает и не обращает внимания, а вот дальние люди, если он к ним приёбывается, особенно гопота, все воспринимают очень серьезно и конкретно. Не раз уж получал Коломин по дурной башке. А тут пристал к девушке в трактире «Ы» и начал ей вешать, что он, мол, сексуальный маньяк. Та слушала, слушала, да и сдала его ментам. Посидел Коломин в ментовке, понатерпелся всякого, ходил потом два дня, как поёбаный, однако выводов не сделал и продолжает свою провокационную деятельность.

Друг Коломина, Молотов, такой же неистовый мудак, как его товарищ, поступил правильней: понял, что нехуй ему в Смоленске нарываться и уехал жить под Ельню. Только и там его достала белая горячка. Молотов рассказывал мне, когда

курили с ним возле памятника Василию Тёркину, что трое суток бродил в бреду по ельненским лесам и видел такое... под такую музыку... Теперь вот хочет найти где-то недорого пишущую машинку и описать свой опыт.

А я пришел домой и решил пару дней не пить, собирался обратно в Москву. Но не судьба. К этой рыжей злой девчонке из Сычёвки вдруг приехали две подружки оттянуться в Смоленске. Для них этот город — мечта. Здесь в квартире есть горячая вода, можно в парк сходить или посетить фастфуд «Русский двор». Мальчики прикинутые по городу гуляют, рядом с домом воинская часть — можно из окна на солдат полюбоваться. А что у них в Сычёвке? Одна длинная Пролетарская улица, по которой бродят ёбнутые пожилые уроды; несколько старых двухэтажных домов да большой частный сектор, где в каждом дворе продается самогон. Еще есть бар «Каравелла», который они именуют «Корова», где можно крутануть на бабло залетных богатеньких лохов. Ну, конечно, там есть «дурка» для зеков знаменитая на весь мир, так как раньше там держали известных политических. В ней, кстати, если не врут девчонки, дураки-зеки недавно съели санитарку. И еще в Сычёвке в свое время жил и работал врачом известный писатель

Булгаков, который от тоски зеленої подсел там плотно на морфин.

Потом девки купили пива — пять баклажек — чипсы, сигарет, уселись теплой компанией под включенную газовую плиту на кухне у разбитого окна и стали делиться с рыжей, которая давно на родине не была, последними новостями. Оказывается, Мотя лежит и не встает — уже пятье сутки, как траванулся левой водкой, Аллигатор задолжал кому-то пять тысяч и на этой почве повесился, Кинолога убили, Штуцер упал пьяный с крыши и сломал позвоночник, Хорёк сдох от передоза... В общем, ребят почти вообще не осталось в Сычёвке.

Девки пива попили, попиздели между собой и по телефонам, послушали последние хиты из ФМ и пошли смотреть телек. Хорошо Лёха, хозяин квартиры, как знал, сколотил незадолго до этого из досок широкий сексодром. На нем-то мы и устроились. Девки были голодные, как сучки. И понеслось. Шуруя первую трахнул. В это время Розана (черненькая) отдалась Наде (рыжененькой), и под их стоны и чмоки моя Шура (светлененькая) вдруг страшно заорала и кончила.

Не хочу даже описывать эту оргию, в смысле, что там дальше было. Переебались все как мог-

ли и невозможным образом в этой комнате, где большой стол, спиженный из больницы, ломаный шкаф с древними книжками, некрашеная и вся разбитая табуретка. Все это гудело, гремело и визжало, когда дико стоали и орали сто лет не ёбаные девки из далекой Сычёвки.

АНЖЕЛО

Итальянец болел с похмела, и, чтобы немного прийти в себя, гулял по Смоленску, вспоминая родной Милан, где развлечений хватало, не то что в этой дыре. Ладно еще Москва, там и заведения есть подходящие, и девочки, которые даже по-английски говорят. А в этой провинции... Одни тупорылые рожи кругом. Такое впечатление, что эти люди только что вышли из леса. В ресторане приходится пить шампанское бутылка за бутылкой. А что еще делать? Не умирать же от скуки. Еще порой ему казалось, что какой-нибудь русский вот-вот набросится и прикончит его.

Этими соображениями Анжело — решив, наконец, опохмелиться — поделился со своим собутыльником, студентом. Парень очень расположил

его к себе. Чуть ли не единственный нормальный человек на весь задроченный город. И английским неплохо владеет. Разговорились. Студент живо интересовался Западом. Говорил, что хочет скоро туда податься. Здесь, мол, ловить абсолютно ничего... Анжело стал рассказывать ему про Америку.

— Американки, учти, скучны в постели... — делился он опытом.

На их столе уже стояли пять пустых бутылок из-под шампанского, лежала гора апельсиновых корочек.

— Как бы врезал бы щас ему, гаду, — рассуждал некто поддатый за соседним столом, имея в виду Анжело. Он делился впечатлениями от иностранца со своей подругой, официанткой, которая присела на минуту рядом выпить рюмку водки.

— Ненавижу их, тварей, — цедил сквозь зубы этот тип и корчил зверские гримасы, такие страшные, что можно испугаться на трезвую голову.

В запале он начал размахивать руками и сбил на пол графинчик с водкой, но тотчас потребо-

вал еще один. Официантка побежала принести заказ.

— Я бы его, гандона, поставил на колени и выдал бы за щеку пидорасу! — орал он ей вдогонку.

— Еще шампаньку, — крикнул в это время Анжело. Он был уже хорош и полностью удовлетворен своим собеседником. Они теперь оба ругали этот варварский город, из которого хотели поскорей сдернуть.

В ресторане заиграл оркестр. Посетители кинулись танцевать. Анжело пригласил какую-то даму, от которой шел приторный аромат парфюма, смешиваясь с исконным запахом пота и перегара.

— Вам нравятся русские поэты? — пыталась вести интеллектуальный разговор шалава, помятуя, что русские хоть и беднее западников, зато духовнее.

— Я знаю Пуськин, — говорил Анжело, напрягая память. Девица засмеялась так громко, что несколько пар уставились на нее, как на ненормальную.

Она вдруг замолкла, а потом произнесла серьезно:

— Вообще, я считаю, что Северянин лучше. Честное слово. Не верите, да? Клянусь. Блядь буду! — И девица царапнула ногтем большого пальца по зубам.

— Переломать ему, уебищу, все ноги, а потом месить и месить сапогами по роже. Сделать из него, козла, макароны... — мечтал вслух некто ужасный и бухой уже практически в жопу, наливая себе и знакомой официантке по фужеру водки.

Когда в кабаке все кончилось, оркестр ушел и официанты перестали обслуживать клиентов, Анжело рас прощался с приятным студентом и двинул к себе в номер. Он шел по темному и тревожному коридору гостиницы, где могло случиться в принципе все что угодно. Казалось, тихие стены хранили много страшных тайн.

Возле двери итальянец начал искать в кармане ключ, но он не понадобился, так как дверь резко отворилась, и Анжело рвануло вперед. Он упал на пол, вернее, на грязноватый коврик. Лежал навзничь и видел, что над ним стоят трое...

Били, как хотели. Поставили на ноги, прислонили к стенке и молотили, как по боксерской груше. Разбили всю рожу всмятку. Отбили навечно почки, печень. Он харкал кровью, пытался кричать о помощи, понимая, что это бесполезно. Уже совсем вялого итальянца наши мужики перекидывали один другому и ловили на огромные кулаки. В итоге повалили на койку и стянули с него штаны, собираясь выбить.

Тут-то и вошел НЕКТО. Весь заросший до самых ушей густой шерстью, с бородой-лопатой, недюжинного роста. В пасти у него торчала папиросина-беломорина. Он моментально раскидал эту шпану по углам. Они, валяясь, робко смотрели на происходящее дальше. Ужасный НЕКТО склонился над Анжело, который, хоть и побитый, но дышал еще и не терял надежду увидеть родную Италию. Но вдруг произошло невероятное. Страшный тип одним движением мгновенно разорвал итальянца на три равные части. Кинул по куску каждому из присутствующих негодяев. А потом выдавил из себя брезгливо:

— Жрите, ублюдки.

С СОВЕТСКИМ АКЦЕНТОМ

повесть

Птица Феникс — Смоленская крепость...

Из песни

Наш муравейник самый прекрасный.

Totaprt

Стонали столетья и бились о стенку головой
жалкие сумасшедшие, будто столкнулись на пути
в рай два отставших от жизни и опоздавших на
пир скинутых Перунов состава, как стучат мед-
ные лбы составителей законного закрепощения
ненужных более эрогенных зон, как несведение
бедных жен до уровня обглоданных костей мла-
денцев Иродовой переписи. Скотский хуторок
рисовался обвалом ублюдочных пород, а пороки
наши, увы, заслуживали не хорошей порки, но
острой гильотины. Выстраивались, настрадавши-
еся каждый за свою половину, ряды городов-по-
братимов, и высился высотки высохших на треть
високосных лет. Восковые присоски на ушах не-
добривших мамонтов и поздние похмелья у сточных

канав, словно остаточные явления под канонаду запретных тем. Я тормознулся, чтоб попить пивка, а Гриша уже лобызал за ларьком ту, что отзывалась только на ласковое Птица и делала вид время от времени, что пишет письмо Знаменитости. Не от бедности все это шло, разумеется, и не от открытости, но от умения понравиться, произвести впечатление и сделать сдуру решительный выбор.

Два кулька конфет да пачку папирос «Северная Пальмира» за кусок ее отрезанных кос дал бы не моргнув глазом, а она без стыда и совести хвастала набором разноцветных перьев под звуки рыданий разбиваемого молотом Белого рояли, старого, как картина неизвестного мастера, на новом, но обширном уже кладбище, где похоронены все — от летчиков до уборщиков туалетов.

Пролетали ящеры, и пели свои песни ни за грош загубленные гамаюны, паслись унылые пасынки природы, кому и рожать-то запрещено законом, мыча, как пять дней недоеные коровы. Пахло позавчерашним дихлофосом с пивом и какими-то химикалиями на полях покинутых нив. «Далеко ль до Питера, маленькая?» — спросил добрый дяденька у девочки с большими глазами и красным бантом на головке, а та почему-то заплакала и рванула пресловутое колечко, и я увидел себя лицом к красной стенке.

Я рыдал и рыгал попеременно, понимая при этом, что Птица эта есть начисто вымыщенная, как бы вычисленная на компьютере разложившейся плоти, плод моего воображения, когда кровь сочится из рваного туфля, и уже не мечтается о свободе, но хочется подумать о совести. Герой моей повести — условно Григорий, которому перевалило за девяносто, место действия — пустыня, время же — богооставленности, сюжет не просматривается из-за плохой погоды и стертости красок, как пика в бок где-то в Крыму уже под вечер. «Да плюс, — говорит Гриша, закуривая папироску, — жужжанье пчел в моем саду ближе к осени».

Птичка сидела в клетке тем временем, нюхала табачный дым и пела грустную песню про Луну, про войну и лукавого китайца, что крепко держит всех нас за шары, а сам как на шнурках и говорит: «Привет, детвора, не наигрались пока что?» И смеется, желтый тип, аж плачет, как скачут серны по песку, как дуют ветры поветрий среди льдов севера в сейфах психбольниц, где хранится история моей болезни. «А веры, — утверждаю я всем на зло, — это разноцветные веера улыбающегося Ходи, что бродит и блуждает базаром воспоминаний, где я, сидя на потерявшемся от людей верблюде, пью чай из пиалы и ничего не боюсь».

На стыке двух эпох я сиял, как звезды на эполетах без двух минут генерала, прыгнувшего так высоко прямо из капралов по милости и воле властительной дамы, что алкала его до самого затылка, чтоб мне не быть в этой жизни поэтом, а Григорий тут же у ларька, в котором продавали пиво, лакал вино «Рубин» за руб двенадцать, и за его несущулыми плечами строилась пожарка, пахло концом света, и было нестерпимо душно от любви и безысходности. Я приподнял ее, Птицу, и мы как бы воспарили над бренным миром, уже беременным революцией. Внизу лежала плоская, тупая, готовая отдаться любому, кто пошустрей, и вся исписанная матерными словами Земля, а по углам ее стояли четыре избушки, и из них, как из кармана пьяного Лёньки, которому дружок его Вовка положил во время гуляний в парке на Масленицу две горячие картошки, идет дымок и пахнет паленым. В центре ж — терем-теремок, из ноздрей как пыхнет пламя, так и сдохнет Берендей. «Один из нас был в прошлой жизни свинопас», — утверждает один из нас, а Птица подтверждает, будто отлетает надолго к Марсу: в жизни прошлой это так мучительно и пошло наступает вам на пятки, а вы убегаете, рвете, когда будто пускает вам дурную кровь цирюльник Иван, отворяя притом поры горячим компрессом, словно вонзает шпоры кавалерист Григорий, который открывает окно в сад, чтоб

дыхнуть свежего воздуха до самых пяток, вдоволь наигравшись в прятки в спальней своей возлюбленной Маши, что ходит боком и смотрит искоса, икая постоянно оттого, что ест соленое — селедку и кильку.

Чего там говорить, шалили мы тогда, и бродили незрелые умы по спискам запрещенной литературы, а пьяные чины приобретали каракуль за полцены, и в шапках выглядели как ханы периода упадка Золотой орды или времени перманентной нирваны в видеосалонах ваших сладких снов. Она чирикнула воробышком в моей возлюбленной руке, и я хотел бы спеть вместе с ней песню спальных вагонов, где едят, я уверен, все лучшее (разумею СВ), что можно отыскать днем с огнем на данный момент в огромной, как спящая или даже мертвая туша мамонта, стране, которая вот сейчас своей темной стороной повернулась к мистической, эrotичной, а также весьма склизкой Луне, которую рисует на картинке китаец Холя.

Звучит соната сопливых составителей каталогов и некрологов по большому счету для записных некрофилов, что посещают эту выставку формальных уродов как еще один официальный довод в пользу легального соления отрезанных ушей в далекой северной бочке. Я имею в виду конечно же Пермь, где жизнь и теперь по последним

данным не ушла далеко со времен Грозного Ивана, древних табу, неожиданного удара ножом в бок, отрубленных голов, четвертованных тел, пронумерованных дел, вырванных с корнем языков или прибитых за крылья к глупому баобабу ни в чем не повинных попугаев. Вернее, одного из них по имени Гаврила, чья фигура, словно распятие, невинна. Проводница нашего пятого вагона была пьяная и что-то явно напутала с географией, потому что, слава Богу, мы ехали не в том направлении, а я, честное слово, устал от тупых шуток жирного купе, вышел покурить и услышал такое...

...«тут-то я ей и зашурупил, — повествовал шустрый и боевой еще стариk Григорий, покручивая свой кругой ус и в болт не дуя. — Это когда было-то, ребята... Во вы, я вижу, интересуетесь, молодежь, ну тогда слушайте, черт с вами. Это мы Прибалтику освобождали... Во! Пахло хлевом, клевером, свежим деревом, рушившимися устями, тухлой рыбой, революцией, отдавало мертвениной, несло помоями как будто с севера. Каркало проклятое воронье, собираясь стаями возле наших стоянок. После мы прошли строем к кузне, и два дюжих братана кузнеца гигантского роста, нам лояльные, приветствовали нас стоя, держа в могучих руках по молоту, а серпы, как знак признательности, ихние бабы зажали почему-то

между ног. «Привет освободителям!» — кричало радио на пустынной площади, потому что робкие обыватели, которых в каждой стране, к сожалению, подавляющее большинство, забились по своим норам и сидели там тихо-тихо.

Дали, короче, шороху, молодые люди! Кругом потроха только, кровь и перья в клубах пыли. За версту слыхать несоветское слово, и туда достигает если не наш мат, то пуля. Эх, дурак я тогда был молодой, мало ситуацией попользовался, но крестьянки мне особенно почему-то запомнились в ярких национальных нарядах и надолго запали в душу обилием тела. Мы загоняли их в загоны для скота и там делали с бабами, что хотели, до седьмого пота и рассеянных мыслей об оставленной родине. Прямо в навозе, честное партейное, под крики второго и третьего петуха, позорное молчание первого. Не вру, комсомольцы. Сам-то я деревенский, но с городским уклоном. Колом меня в село теперь не загонишь, вот как».

Барышня, что сидела напротив ветерана, очень млела, болела всей душой и страх как потела в черном шерстяном спортивном костюме, потому что жара стояла в купе как в закупоренной бочке где-нибудь в районе Сочи в пик курортного сезона. Она любила вообще-то СВ путешествовать, потому

что изнеженная была и тонкая натура, да и денежки водились, куда ж их тратить ей, как не на самою себя, но тут с билетиками не пофартило: опередили ее люди в кожаных пальто и норковых шапках. И как пошло все после этого через наперекосяк, как поехало не в ту сторону, просто ужас...

Она прямо заохала наконец, хватаясь то за бок, то за сердце, роясь в сумке, ища лекарства, греша на печень, глотая валидол и другие таблетки, ношпа, например, очень помогает от этих дел, и никаких притом побочных эффектов, проверено сколько раз, причитая на свой лад, про себя, но виду не показывая, потому что ученая по жизни этой идиотской, когда никому доверять нельзя, потому что все кругом гады. Думая: ничего, в санатории на Балтийском побережье расслаблюсь, подлечусь, отойду малость, найду себе хорошего человека для утешения ради... Ослабляя резинку на трусах потихоньку, чтоб никто не увидел. «Фигу вам, жлобы проклятые» произнося в запале забывчивости чуть не в слух, неизвестно к кому обращаясь в сердцах. Как бы в пустоту пространства бросая проклятье всем странствующим.

А в купе странная такая компания умудрялась сложиться из четырех там случайно оказавшихся лиц: одна девица, вся размалеванная, подведен-

ная и накрашенная, губастая, скуластая, пестрая до вульгарности, наглая и одновременно грязноватая (особенно ногти и зубы, ну и все остальное), фривольная также не в меру, а при ней как бы кавалер, парнишка неопределенного возраста и социального статуса, но весь будто на шарнирах, глаза стреляют и шалят, говорит чего-то время от времени постоянно невпопад, а в дурной голове вальты разбежались — не собрать. Третьим же оказался этот самый старикан рассказчик, Григорий Иванович Черепушкин, тоже не подарок человек, в поношенном сильно галифе, выцветшей гимнастерке, сапогах в гармошку, постриженный по последней послевоенной моде под полубокс, бодрый еще даже очень, хоть и древний, почти вековой, к тому же болтун отчаянный, а это небезопасно, товарищи, когда и так в поезде болтанка туши свет. Будто вы по морю плывете на тонущем корабле во время сильного шторма.

Поезд часто останавливался, лишенный напрочь энергии, и в открытые или выбитые окна на каждом полустанке возле любого столба тыкались какие-то страшные рожи, просили денег, говорили о совести, а потом кричали: «Сволочи!». А дед все шепелявил и шепелявил по случаю забытой дома челюсти. «Я сам-то рентгенолог по профессии, ребята, — докладывал он, будто его кто спраши-

вал, скучные сведения из своей профессиональной биографии, все больше к молодым людям обращаясь, а барышню под пятьдесят как бы игнорируя, — но с первого курса был призван в Красную армию, чья историческая миссия, вы знаете, освобождение народов мира от векового закабаления. Прикиньте, ребята, как события развивались стремительно. Сначала мы Персию освободили, решительно двинув туда наши войска из Азербайджана, который освобождали еще до меня, пройдя к ней скорым маршем через всю пустыню в рекордные сроки. Потом сразу же Западную Украину, всю Прибалтику и часть Польши, аккурат ее половину, а дальше уже немцы с той стороны освобождали. Поляки растерялись, как сейчас помню, и практически никакого сопротивления не оказывали. Так, мелочь одна, семечки. Постреливали их снайперы с колоколен по временам, ну, убьют кого из наших, тогда, бывало, развернешь пушку да саданешь со злости, снесешь всю макушку нахер. Такая жизнь, — усмехался в усы старикан и продолжал охотно, — армию их разоружили к черту в два счета, офицеров-шляхтичей расстреляли...

Я вообще-то по первости в кавалерии служил, понимаете ли, беда новобранцам — издевались над ними старослужащие, как хотели, ребята. Они-то еще с горцами воевали, освобождая Кавказ, по-

том с басмачами бились, чтоб лучше, веселей жилось желтолицему населению. Короче, били нас, что называется, до посинения — как раз рукоприкладство обратно ввели в армии с целью дальнейшего перевоспитания личного состава, особенно его отсталой части из забитых крестьян — мучили по пять дней не жрамши, выкручивали руки, били бляхами, когда принимали присягу, по голой жопе, а то и по роже, заставляли, как в цирке, скакать в вольере по кругу, стоя у коня на потном крупе, так что многие падали, вкупе ломая себе руки-ноги и шеи. А одного солдатика молодого, помню, спод Вологды, кажись, медлительного слишком, тем и не угодил офицерам, привязали к дереву состна, простреленному с пулемета, это мне хорошо запомнилось, раздев наголо, ногами прямо в муравьиную кучу. А комарья там было, молодежь, — тучи! Потому что одни болота кругом. Во! Это ж мы Финляндию освобождали. Пахло севером, снегом, камнем, какой-то вонючей сывороткой... Труднейшая была, между прочим, кампания, из которой немногие вышли живыми, зато освободили наш родной город Выборг, который еще в свое время Петр Первый освобождал с моря, а после пил водку из больших кружек вместе с Меньшиковым, своим другом, и другими полководцами.

И наконец-то, комсомольцы, когда всех кого надо освободили мы, наступил долгожданный

дембель. Смех сквозь слезы, молодежь. Пришел приказ от самого Верховного Освободителя, чтоб нас домой отправлять во всем старом, как списанных за ненужностью гусар, ветхом и рваном обмундировании. Оно и верно в смысле экономии формы одежды. Только уж больно странно, чтоб не сказать страшно, смотрелись мы, когда перели до дома, до хаты. По всей нашей необъятной и многонациональной. Шаражались от нас народы, давая узкий проход от Черного моря чуть ли не до самой Чукотки и ошалело посматривали на катящих воинов.

Аля-улю! Гуляли мы, и щекотала нервы свобода, а верить хотелось, что скоро опять в бой за правое дело, роковой и последний, когда не жалко единственной жизни, только б Родина была жива и давала жить другим. Мне-то что, я к себе в Центральную часть двинул продолжать образование, потому что тягу к знаниям имел сызмальства, что твой Михайло Ломоносов. Из самой Азии добирался, после освобождения Минголии от ига тамошних баев, а может, ханов. Цвели, помню, магнолии, базарили смешные павлины прямо возле наших казарм, а мы их не трогали, так как это считалось у нас дурной приметой, вынуть из них душу, я имею в виду. Они гордились этой привилегией и пушили хвосты красивые. А вдогонку

нам стрекотал родной пулемет «Максим». Вот как оно было-то на самом деле!»

Барышня, вся изнеженная, слушала старика-ветерана и не слушала. Все у нее слиплось, зудило по всему телу, где-то распирало, пучило, а в другом месте, наоборот, крепило прямо ужас. То ли от жары ей хуже делалось, то ли от болтовни этой дурацкой и шепелявой, бестолковой, во всяком случае. А может, от туалетной вони в основном. Проводница пятого вагона, в котором все они куда кому надо добирались, всю ночь прочищала забитое напрочь очко в туалете и пела громким голосом недурной певицы, не унывая по своей натуре, про карие очи, но у нее не очень получалось, факт, так как запах все нарастал, и вскоре по всему вагону уже воняло свежим и живым говном.

Швыряло тем временем состав по сторонам, дергало варварски по чем попало. Било по ребрам, головам, почкам. Крутило и зашибало на сторону. Настраивало не на ту волну и ударяло обо что-то тупое или, наоборот, острое. На полустанках, да и на больших станциях врывались какие-то страшные типы, похожие на анархистов, бандитов или спившихся артистов погорелого театра. Орали и матерились, чего-то требуя: то ли мест себе, то ли скорой мести за былые обиды или вообще по-

мощи, ничем притом не брезгуя и между делом в суматохе изнасиловали, изверги, двух невинных старушек, возвращающихся из святых мест в свою родную деревеньку на Смоленщине. За окном же только мрачная размазня осенней ночи, и постоянно, как в фонтане, дышащем на ладан, накрапывало мелким дождичком. Хотелось плакать и посыпать всех на хуй. Стучало чем-то по крыше, пахло паленым и краденым. Лошадьми, что ли? Аль цыганами? Кострами, возле которых сидели и грелись бродяги, вволю настранствовавшиеся, и картошечкой, запеченной в золе. Остатками портвешка в стакане. Желалось пить и закурить одновременно. Билось в голову дурными мыслями. В чугунке варились нечто неопределенного цвета, вкуса, состава и запаха. А на большой черной сковородке, которую тащили из печи ухватом, оказались олади. Четыре штуки. Красноватые и черноватые.

«Для внучечков», — говорит гнутая бабка и охает. Мосластые кошки, поставив на стол голенастые лапы, вымяукивают себе на пропитание кусок сала или, еще лучше, мяса. «Молочка бы не в падлу бы», — орут отчаянные головы. Большие и наглые, как танки. Поскрипывали галоши, чавкала кирза и сталинские резиновые сапоги, приоритет изобретения каковых мольва относит ни к кому-то еще, а к самому Генералиссимусу. Хлю-

пали животами Иван да Марья, развалившись на широкой, довоенной еще, кровати. Беда сидела на тысячелетнем дубу и каркала, предрекая завоевателей опять с Запада. Пела трехрядка, болели зубы, висела на стенке заряженная двустволка на всякий случай.

Мужики и парни на пяточке возле сельсовета били насмерть придурошного Кирюху за какуюто провинность, а тот не сопротивлялся ни грамма, потому что решился наконец податься поутру в город, чтоб всех их тама заложить непременно гужом. Скрипела телега — хоронили кого-то. Трехтонка застряла на разбитой вдребезги дороге и торчала там еще с тех памятных времен, когда наши освобождали Болгарию от турецкого шаха, а пахла до сих пор (чудеса право) не чем-нибудь непотребным, например, соляркой, но ароматным кальяном. Бандиты, ворвавшиеся в поезд, горячились в коридоре, матерились почем зря и брали проводницу всю в черном, а также липким говне местами за талию, большие груди и тяжелую жопу, ругая причем по-черному и даже били время от времени по харе и под дых, а та сопела только да всхлипывала, полностью смиравшись со своей участью, но наконец не выдержала, расплакалась, роняя соленые слезы на толстые щеки. А там, где разлагались два подбитых трактора и один крас-

ный комбайн, пахло копотью, бензином, просыпанным просом и чьей-то неудовлетворенной похотью. Плохо было в местном магазине, или, как он называется на селе, лавке, с мылом, крепдешином, лаком, одеколоном «Шипр» и черной икрой, но фуфаек хватало, слава Богу, на душу населения крестьян-колхозников.

«Тут-то я ей и зашурупил», — повторил старикан-рассказчик свою присказку тех времен, когда каждый человек был еще винтик хорошо отлаженного механизма и мысли имел соответствующие в смысле своей функции в обществе, а также намерения плоти и задачи силы воли. «Вот я и говорю, понимаешь, — продолжал он сквозь сон, закуривая Беломор, несмотря на пассивное сопротивление вышеозначенной нежной очень дамочки из нервных и расслабленных, — идем мы, значит, этой пустыней, Гоби, что ль, называется, черной как ночь, не кричат петухи, ребята, не верещат свиньи, не лают даже псы. Мрак. Сумбур мыслей и никаких идей в головах младших чинов, не говоря уже о рядовых. Это мы тогда Тибет освобождали и скидывали ихнего тирана Далай-ламу. Хотели в пропасть натурально без суда и следствия по рабоче-крестьянски, но пришел приказ из центру — к ногтю его, гада, и доставить в столицу живьем. Вы, молодежь, может, не слыхали, а это был реак-

ционный лидер местной клерикальной феодальной верхушки, склонной к эксплуатации невежественного населения горцев. Мы, то есть Красная армия, их от басурмана освободили враз одним мощным неожиданным ударом прямо в лоб, за что они потом нам благодарны были даже очень, — смеялся старик громко, довольный, — а везли как смешно, комсомольцы. В сетке, конечно же, какой ловили карасей еще в Чехословакии, и с отрубленными ушами. Они, ужи-то, отдельно были посланы как ценный подарок в специальном резном ларчике самому товарищу Сталину.

Гражданка в шерстяном трико, вся обливаясь потом и чувствуя, что вот-вот ее вырвет, стала по-тихоньку раздеваться, а думала исключительно про картошку, которая в этом году не уродилась повсеместно. Мелкая была, что твой горох. Да, с продуктами не очень нынче-то в магазинах, а откровенно говоря, вообще жрать нечего, непонятно, как люди крутятся. «Только по карточкам», — сообщила она как бы между прочим неизвестно кому: то ли старому пердуну, то ли молодым панкам. Старик Черепушкин не обратил никакого внимания на высказывание дамы, возможно, не рассышав, будучи глуховат порядком, только сплюнул в угол, где была дырка, через которую видны рельсы, будто это урна в городском саду. «Какое бескультур-

рье, — подумала грамотная даже очень барышня с негодованием, — вот они интеллигенты какие наши, а то еще рентгенолог, где ж тут гигиена...»

«Тут я ей, говорю, и зашурупил, — опять повторил старый хрен. — Вы не поверите, комсомольцы, какие у нее были плечики, у Любочки, я имею в виду. Чудо. Это на Украине где-то происходило весною. Цвели каштаны, пахло кафе-шантаном, в котором на открытой веранде сидели шлюхи и курили свои папироски длинные. Она хохлушка была точно. Мы с ней на скамейке в парке, дул южный ветер, у ног наших бутылка портвейна и пачка печенья «Люкс», и я, честное партейное, думал только про одно: как бы расстягнуть ей кофточку всю в цветочках лютиках, чтоб она не успела лягнуть меня ножкой, эта резвая козочка, и залезть туда лапой. Она отбивалась, кусалась, ругалась матом, а я не обращал внимания и все лапал ее и лапал, вспоминая в деталях бессмертный роман «Как закалялась сталь» и живо представляя себе Николая Островского всего худого и изможденного на смертном одре, но не сдающегося».

Старик засмеялся громко и пронзительно на весь поезд, так что в соседнем купе на минутку, растерявшись, унялся молодой негр, который всю ночь ругал свою жену, обзываая ее нехорошими

словами по-русски, имея явный советский акцент. «Вот дьявол», — шептала барышня, а Григорий сказал почему-то шепотом: «Вот уже, считай, полвека курю, а все ничего — живу и жить другим даю». «Работать в огороде, на даче, — размышляла про себя наша барышня лет под полтинник, — доставляло мне подлинное наслаждение всегда, я, бывало, разденусь до купальника, загорю вся дочерна, к вечеру придет Максим Петрович, толстый, между прочим, как боров, но респектабельный, обязательно в темном костюме, несмотря на жару, ссолидным портфелем, так и похоронили по его желанию при синем галстуке, большой любитель пошутить был покойник-то, в домике, помню, пахнет свежими яблоками, которые лежат прямо на полу, а он как набросится вдруг без предупреждения, неожиданно совсем, ни с того ни с сего, в общем, вроде только что говорил про события на Ближнем Востоке и прямую угрозу Израиля, а тут... удар в живот, потом по почкам, по печени, так их в партшколе, что ль, учат, не слабо, женщины... после по морде еще пару раз для порядка, будто я дешевка какая, а не серьезная женщина, которая далеко не с каждым, прямо бешеный был, между нами, как бык на красное, и глаза наливались кровью, отчетливо было видно при заходящем солнце, я же вся в синяках из-под него вылезала, и по всему телу занозы, потому что он любил этим делом не-

пременно на полу заниматься, и привычка у него смешная была: одновременно жрать яблоки».

«Потом я к ней под юбку полез, к этой краlee, — продолжал неутомимый ветеран освободительных войн, — а она как даст мне кулаком по харе, чтоб не трогал там, где не ложил. У нее огромный был, ребята, тяжелый, как сейчас помню, чуть не пудовый. Ну, деревенская деваха, чего там. В моем, впрочем, вкусе, как я сам от рождения сельский. Тем и понравилась, сучка. Оркестр тем временем играет вальс Штрауса, кружатся пары, конфетти повсюду, мелькает молодежь радостная. Пахнет вовсю орехами, колбасой, шоколадом. Кровью с молоком. Кипятком по голой коже, по роже валенком. Теплым лимонадом. Мороженым со сливками и сопляками теплыми, которые это дело кушают. Вспыхивают над озером огоньки фейерверков, на небе звездочки мерцают, будто в марципане все вывалены. Хорошо-то как в сказке или у мамки в деревне. И мнится, будто весь мир уже освобожден до самой Аляски, где средь льдов и пингвинов развивается наше красное знамя на потеху эскимосам. А мы отдыхаем, лузгаем семечки, пьем водку и мочимся куда попало, в любую речку ихнюю, хоть в Миссисипи, хоть в Сену... Во! А по всему лесу кружева повисли, синие рожи какие-то хихикают, и чем-то ароматным пахнет.

Гдей-то мы тогда освобождали, комсомольцы? Сей момент вспомню. Блестел паркет, работал буфет... Ага, по-моему, Австрию. Да, точно. В столице ихней городе Вена дело происходило. Поехали мы на рыбалку, значит, половить местных зеркальных карпов. Сам комполка, товарищ полковник Баринов, Кузьма Кузьмич, во главе операции. Я за рулем газика. Виды там замечательные, ребята. Все такое причесанное, подстриженное аккуратно, я имею в виду природу нетронутую, небо будто глазурью покрытое, а само мраморное, кругом горы синие возвышаются, пахнет медом, голубями, а погоды стоят — очарованье. Хочется прямо плакать и скучать по великой Родине, от которой вдалеке пребываешь. А тут как назло, слушайте, партизаны ихние как шаражнут с базуки. Только шипенье змеинное в ушах и крик: ох, ты, блядь! Не признают освободителей, значит, суки, и все тута. Хоть режь их заживо, сажай на кол и парь на медленном огне. Они все за свое, гниды. Поливают из укрытий в скалах с пулемета, заразы. Страшные, между прочим, такие хари у горцев этих. Я-то понасмотрелся на них в натуре. Все разрисованные краской, косматые, в волосах длинные яркие перья убитых птиц, сами бешеные такие, в звериных шкурах. Не наши, короче, люди, а как бы совсем нечеловеки. Поклоняются же большому черному камню. Ну, язычники, одним словом. Пришлось

нам пригнать дорогую Катюшу и дать по идолопоклонникам пару залпов. Выбили всех из каменных мешков ихних. Кого поубивало нахер, другие стали выходить помаленьку, сдаваться. Косоглазые такие, черти, маленькие, грязные, с полчеловека, все в моче и кале, извините за выраженье. Но злые... Что твои японцы. И шуму понаделали в горах, где гуляет эхо, страх. В нашем же стане беда большая случилась. Комполка нашего, батю любимого, наповал убило осколком снаряда. Снесло полчерепа человеку с большой буквы, и как не было его на этом свете. Жалко до смерти. Мы ж с ним, считай, всю Европу освободили и большую часть Азии. Да, половили, называется, рыбки, лучше бы в гарнизоне сидели да пили водку с пивом. Мы потом этих карпов проклятых глущили гранатами по чем попало и перебили от злости всех, будь они неладны.

Взгляд ниггера, как падающий, ревущий водопад, как культишки оттяпанных рук, обрубки ног, затычка вместо рта, пуговицы в глазах и голова, отрубленная из сострадания. Малиновая язычница Птица, как яичница, густо посыпанная марципаном. Она была постоянно на устах старейшего в роде, кто возвышался над нами и в остальное время суток, казалось, не вкушал ничего, кроме манго.

«Не побрезгуйте девочкой», — негр предложил мне ее, помню, в самом начале повести, ночной портъе гостиницы «Москва», и я, который прошел все окопы от самой Бельгии до дружественной Монголии, усмехнулся краешком укушенной души. Не хотелось делать ей больно и сбивать цены, потому что наша жизнь это свалка, если вообще не помойка благих желаний и сундук дедовских прогнивших предупреждений... например, помню старика Григория Черепушкина, со старой клеенчатой сумкой, в которой только пачка подмоченной соли, на дороге в Мекку. Он ехал туда на осле, будто шел в магазин за хлебом. На минарет взошел мулла Маудзин, а глаза неутомимого Мао слипались от крайней формы усталости, ибо собачьи головы хоть и летели направо и особенно налево, вырастали прямо на глазах новые. Я же вообще чуть с ног не падал, словно меня все-гого высосали вардулаки или исписали продажные писатели вроде Семена Бабаевского.

«А я люблю этого кадра», — щебетала анархистка-Птица, по моей авторской подсказке, имея в виду, конечно же, меня самого, и деловито чистила ногти, как ее коллеги по крыше чистят перья. Испорченные и даже порочные люди ей нравились, и она искала их повсюду: в пивных, в дешевых кабаках для извозчиков, особенно в ее

любимой «Тройке», где я писал мою повесть, сидя за высохшей пальмой, со стаканом водки на столе и кусочком хлеба с горчицей, поминая из писателей только умершего по пьяни Марата. Она же, баловница и плод моего больного воображения, мочила голову портвейном и закусывала фужером, объехав весь кривой, как шпага, город, и успокоилась только, когда кончилось пиво в подвале на Поварской. Что там говорить, ей импонировало быть героиней моего произведения, под звон стаканов, бокалов и рюмок.

Под Перекопом, за Дунаем ли гуляли наши чудо-богатыри и вверх летели в пустоту бутылки из-под «Пепси» предвестием скорого летального исхода целой цивилизации, а они все не могли нализаться, ползая в районе Акведука, а блевали уже в Порт-Даме. Или, по крайней мере, где-то около. Я почему помню — со стен-то капало, а нос у нас заложило начисто. Птица, которая пришла ко мне поселиться, в тот вечер была похожа больше на мокрую курицу. Она со мной громко спорила, куахтала во всю глотку и в итоге чуть все не испортила: пришли какие-то люди со злыми рожами и стали требовать, чтоб мы убирались к черту. Я их долго уговаривал простить нас на первый случай. О, я не охал, как Л. Толстой, и не окал, как М. Горький, я вздыхал только, с тоской глядя туда, где едва

шевелился возле винного друг мой Троцкий, прислонившись к теплой плоти Бухарика — собрата то бишь по перу, ибо ночи у нас тут темные, и нож в кармане фуфайки бывает порой просто необходим, как сотка водки поутру, чтоб толкнуть мотор и начать какие-то движения опять-таки по кругу.

Так учит нас философ Къерки-Гор. Так бредит нами чей-то телевизор в загородном доме ночью, где призраки являются в двенадцать ровно, чтоб вставить в рот нам кляп и дать под правый бок подушку. Она, я разумею Птицу, лежала вся в бреду и видела весь мир зеленым, как корова, которую ведут по пыльному шоссе на бойню. Она мычала и искала таблетку, чтоб забыться и видеть только птичьи сны о чем-то птичьем, в опереньи кровавых закатов, когда олень пахнет не садом, но Гоморрой, а в селеньи на виду у Великана детских страхов — только мяты.

Изжованный, словно из жопы, костюм мой, и ее затравленный, затрапезный вид повисли на моих согбенных плечах литератора из обреченных, и я в огне дома Троцкого, подожженного, наверняка, этой террористкой с бородкой клинышком, что жила на краю селенья и ни с кем не дружила, схватил Птицу за плечо и резко рванул к себе ту, которая писала послание очень важной

Персоне, постоянно заменяя слово «прелат» на словечко «пиллат», желая тайно войти в костер самоочищения за грехи прадедов, которые начисто лишены были инстинкта самосохранения, ненавидя почему-то друг друга до смерти, хоть и пахали землю бок о бок.

Нет, лучше смерть от укуса кобры, чем жизнь без презервативов в эпоху СПИДа. А Птица кричала, как будто съехала резьба, и спидометр заплясал не в ту сторону от ада. «Птаха, — хотелось крикнуть ей, — забудем пятна позора на щеках лжепророка и выключим свет обрезом переходника, как пьяный матрос Железняк убрал из жизни одним росчерком пера ненужную уже в моей повести проводницу пятого вагона, стоящую по уши в говне, добираясь в этом поезде из оккупированного Крыма, в те времена, когда смерть на перине казалась вкуснее самой спелой малины. Помолись за меня грешного, Птица, поближе к Богу, — шептал он ей после содеянного, как будто и не злодей вовсе, а исполнитель чей-то злой воли, и пусть сны мои будут чисты, ибо я искренен в моих намерениях избавиться от скверны и уже выбросил в окно, как программу минимум, грязные и рваные носки. Ведь мы мастера благих начинаний и пожеланий в избыточном количестве на почве перебоя со спиртным, драчливые защитнички своего места

в очереди и отчаянные шутники там, где пахнет не багульником, но бессмертником».

Она не слушала, потому что писала что-то очень важное, а я гладил на кухне галифе и гимнастерку старику Григорию Черепушкину, который имел какое-то отношение и к событиям в Никарагуа. Шел год Титана, и гибель лайнера маячила на горизонте открытий в воспоминаниях старых мореплавателей — Улисса и Синдибада. Я читал старенькую книжку о проказах розовощеких приказчиков, прожигающих жизнь в кабаках, а курил забытую кем-то в туалете трубку, думая только о той, что подторговывает в свободное время на базаре цветами руб за штуку. Она в прежней жизни была птицей — длинные ноги, подвижный зад и острые лопатки вместо жестких крыльев — а теперь компенсировала все, включая грехи и просчеты молодости, особой диетой, когда другой раз и поклевать чего было на дне кружки. Я трогал ее мокрые пахучие волосы, как вы гладите прохладные перья, покачиваясь на пружинах еще довоенной койки. Наше жилище было подобно разоренному гнезду, и всякий хлам делал из нас, само собой, хамов.

«Я только что вернулась с пруда, — рассказывала потом, когда мы угомонились малость, Пти-

ца, — и была вся мокрая от слез и желания, а по дороге зашла за насосом и познакомилась с женщиной, чья бородка выдавала в ней поклонницу Чехова, социал-демократку и ныне мойщицу окон по улице Кирова. Я подала ей руку, и она шепнула мне на ухо, что все мы давно уже умерли, а потом затряслась в беззвучном смехе тех, кто давно наплевал на забавы света. Она шептала мне громким шепотом о пользе террора, и что весь поселок скоро будет в огне, который сожжет все старое, не нужное, включая библиотеки, состоящие из книг, что в массе своей не тонут в воде и, увы, не гниют в нужниках. Блузка на ней была белая, да длинная темная юбка, а маленькие глазки так и пылали бескомпромиссным гневом. Извиняюсь, сказала я ей только, но я решительно протестую против посадки здесь растения, чуждого для этих мест и цветущего малиновым цветом падения империй». Она согласилась, не думая, и просила заходить в гости. Я вышла из дома бородатой старушки, как птицей вылетают из душного крематория навстречу новой жизни, вдыхая аромат крепжаржета, надушенного тонкими духами "Жульен"».

Мы жили тогда в простеньком домике возле самого леса и не жалели денег ни на кусок черствого сыра, ни на дешевое вино по субботам и средам. Я чаще всего сидел в кресле с дырками, покрытом,

как ни странно, черными цветами раздавленных воспоминаний, и ничего не делал. Может, только копался в памяти да кусал ногти. Птица лежала на полу, читала популярный журнал о полярниках да часто пила воду из банки. Она была в простеньком ситцевом платьице и гладила кошку, которая съела ту самую птичку, что жила на ветке домашнего цвета. Только синие перышки да капельки крови остались от нее на полу за диваном. Я говорил ей, что устал от сплетения плохосклеенных слов и обреченных сквернопродуманных жестов, начищенных до блеска рож, разбитых дубинками голеней и поломанных пальцев недурных музыкантов, вырванных языков потенциальных Цицеронов, изгнанных Шекспиров и шинелей отворявшихся вояк, освобождавших большую часть мира, а ныне бродяг, что noctуют на кладбище, а поутру возле пивного ларька толкуют о победах, кутаясь от старости и внутреннего озноба в тепло воспоминаний о последней войне.

«О, как я не хотела делать тебе больно, — рассказывала потом Птица, — трогать за живое, сдирать кожу или обнажать незащищенную кольчугой грудь. Напротив, старалась услужить как могла — сдувала пыль со старых книг, из которых ты черпал свою мудрость, утюжила брюки твои, идущего на прием к сильным мира сего, кусающе-

го отличный кусок в кармане старательно почищеннного пиджака. Но больше ты запомнился мне в черном трико, на голове белая кепка, на ногах кеды. Мы сидели на веранде и вспоминали Турцию, где пахнет халвой, и, когда лежишь под дувалом в дымину пьяный, забываешь, что ты раб, и твой поезд на Кара-Даг давно ушел, а потом к вам подходит паша и говорит что-то по-своему или просто плюет в рожу».

«Мне ли, — шептал я в темноте прихожей, — потерявшись среди остро пахнувших аншой и загубленной жизнью елей, обретшему надежду в виде прямоугольной, как тюбетейка, Птицы алкать утраченных свобод и думать только про огород на задах этого селения. Ведь жизнь здесь остановилась, насколько я могу судить, на цифре пять».

Я помнил, конечно же, кухню и каморку бородатой старушки, в которых одних ходиков семь экземпляров, а настенных часов с боем, престижных и в доме генерала, всех двенадцать штук. «Как рванет потом», — шутила старая и смеялась, будто маленькая. На руке у нее Сойка, играющая десять гимнов, включая «Боже царя храни», а в печи тушится мясо по-гренландски. На оранжерею пахло наスマром и вчерашним кошмаром,

на груди у нее алый бант, и слышится мелодия Интернационала, а воняет чесноком и чем-то завернутым в грязную тряпочку и спрятанным за этажерку, на которой томики Маркса и Ленина. «Глупые, какие же вы все глупые!» — хотелось крикнуть или прокуровать девять раз, ибо именно столько им оставалось в этой жизни. На дворе кусались комары, ломилась в окно сирень, пахло мармеладом, и я стоял возле муравьиной кучи, а Птица сидела на ветке и чирикала от удовольствия. Над кучей транспарант как на демонстрациях — НАШ МУРАВЕЙНИК САМЫЙ ПРЕКРАСНЫЙ.

«Она чистая была, эта женщина, как первый снег, — клялась потом на суде Птица, — вот только не выдержанная и порой в суждениях резкая, а хотела нам всем одного — счастья».

Потом мы все сели. Маша засуетилась, девушка поставила на стол засиженный мухами «Наполеон», сладкий и хрустящий. После обеда мы забавлялись с Птицей от нефиг делать на сеновале, где пахло падением нравов. Она была все в том же ситцевом платье, коротеньком, тонком, почти прозрачном. Я целовал ей грудь и ноги, гладил волосы, а она только шептала про какого-то ежа, который обязательно умрет, если сейчас же не выпьет человеческой крови.

«Как рванет сейчас...» — слышали мы голос безумной старухи. А на столе, когда спустились, стоял портвейн и лежала жирная селедка. Крутилась канитель, маялась в огороде бузина... Вечером Птица куда-то улетела. Может быть, петь на концерте черных дроздов глубокой ночью или стричь головы тех, кто выдумал мазать наши ворота дегтем. Пришел охотник в смешной ушанке с торчащими в разные стороны ушами, принес двух тетерок, повесил их на забор с видом на север. Я думал про этих мальчиков Сима и Афэта, ублюдка Хама, а также того, кто упрямо называл себя Адам, будто хотел нас этим удивить. Также иных загадочных типов, что приходили и уходили, оставаясь ненадолго, прячась, случаясь на сеновале, шаля там, ссорясь, проклиная захватчиков, клянясь отомстить гадам, пугая нас шрамами на запястьях, плечах, груди и длинными ножами в ночи и перед самым рассветом, когда жалко себя до боли и хочется петь печальные песни, а кругом пахнет грибами, пудрой, речкой, яблоками, цветами, и кричит как резанный последний петух.

Три года жизни в деревне укрепили наши вены и запрятали куда-то подальше острые опасные бритвы. Мы умывались холодной водой из колодца и бежали пахнущими новой жизнью кустами к пруду, где водились караси и русалки, чьи

лепные изображения остались намертво изваяны над входом в нашу обитель. Мы ненавидели практически никого, а желали только кухарку Машу поутру с ее непременной яичницей. Она шла на цыпочках, неся кому цыпленка, кому отчаянье или прямой испуг, как будто увиденного в лесной чаще цыгана. Мы были как в блокаде, но благодарили Бога и пели псалмы, уединившись возле гигантского муравейника, лучшего в мире. Пахло мухоморами, летало страшными птицами, холдило душу древними страхами. Я обнял ее за плечи, провел рукой по губам, прижал к телу. Хороша она была рано утром. Вся в саже, будто вылетела прямо из трубы в сад, где была засада, и только на пахнущем развратом сене пришла малость в себя в моих теплых объятьях. Шуршание ее крыл, думал я перед сном, предел желаний, а перья груди как рюмка коньяка о вечернюю пору.

Я помню, как она дрогнула в первый день нашей встречи, когда я уставился на нее будто безумный, имея в руках то ли гнутый тесак, то ли гаечный ключ восемь на семь. «А где вы служите?» — спросила едва слышно, довольно нервно и затянулась поглубже, как бы предвидя первый удар по роже, сидя на мягким диване, в который проваливаешься и уже не думаешь о загубленной жизни и оскверненной родине. Ах, если б не другие берега, теплые страны, жизнь как сказка, к черту тогда гео-

графию, кругом одни тюльпаны и никакой шпаны, и не пахнет трупами, зачем тогда север катаний с гор, лобызаний алых щек на морозе, чарка водки с приходом в теплую комнату да курение трубок и припоминание обстоятельств, предшествующих и послуживших причиной неизбежности... вся власть воображению сраженных галлюцинаций.

Я нес ахинею, а она смеялась всласть. Акации под окном цвели мертвенным цветом глициний. Потом мы сели за стол, разлили портвейн по фужерам, нарезали сало тонкими ломтиками и выпили за забытый порок, после за оставленный в лесу теперь уж до весны хворост и, наконец, за неуклюжего, но надежного медведя Федю, который приходил иногда ночью, был вежлив и никого не будил, разговаривая потихоньку сам с собой. Крепкий мороз будоражил наши сновидения, и я знал, о чем грезит она, а также догадывался о сути снов пьяного старика Григория, что не вылезал из-под армейского жесткого одеяла, где примостился также длинный, как шпала, и прямой, как шпага или штык в виде памятника, ужасный, но родной нам Глухонемой, чьи костлявые ноги сжимали Григория в районе горла.

Григорий Черепушкин, ветеран-рассказчик, дрыгал ножкой, ампутированной чуть выше ко-

лена, а шел будто лесом и сворачивал все налево и налево, в то время как тесть его Никифор, ветеринар и сукин сын, скручивал себе самокрутку из газеты «Красная Звезда», или, как он любя называл ее, «Звездочка», перед тем как сесть на табуретку в кухне у открытого окна уже на весь день. В трусах и майке по случаю начала весны. На груди у него, как горящий полустанок первых дней войны, татуировка — Ленин обнимает Сталина на фоне красного знамени. Сидит ветеран, дышит воздухом, озоном, а мечтает о светлом будущем без клопов, попов и тараканов, а Гриша, зять его, идет лесной чащой, и повсюду тут воспоминания о прошлом в виде потревоженной грибницы, спиленных деревьев, загубленных ни за что зверей или разоренного муравейника, лучшего в мире. Птичка какая-то распята на осине кем-то из юных бездельников, скорее всего, Серёжкой-проказником, соседом по купе. Ах, молодежь, комсомольцы, вашу б энергию да приложить к делу освобождения. Это точно в его духе развлечение. Возле самой Желтой речки Гриша снимает с себя всю одежду, галифе и гимнастерку, а трижды кланяется духам здешних мест и вод. А тесть его Никифор в это самое время кричит во всю глотку соседу этажом ниже, чтоб шел немедленно к нему с поллитрой побеседовать о политике. Григорий немного трусит в грязной речке и мочится в холодную воду идет в нее весь

дрожа, прекрасно сознавая в своем старческом уме, что на другом берегу зарубежная держава, нами пока не освобожденная.

Мороз по коже и враждебный антагонизм под мышками к чужой культуре и буржуазной демократии. Чуждым нам нравам, как то проституция, наркомания и онанизм. «Да здравствует Константинополь! — кричит он в забытьи как бы. — Истинно русский город, который мы освобождали раз двести, пока не взяли намедни с боем под вербное, кажись, воскресенье». Григорий потерял там пять зубов в стычках и три почки, а также был проклят толстой турчанкой или гречанкой, кто их поймет, сволочей смуглых, у которой на ходу, не слезая с лошади и не сбавляя скорости, срезал полподола ее цветастой юбки для неизвестной цели. Шутки ради, оправдывался он потом в кругу друзей, что собирались по случаю Дня освобождения на площади Победы. Они все были, как на красном карнавале, разодетые, умытые, слегка поддатые. Кричали, смеялись, били себя в грудь кулаками, бахвалились, чертихались, галтели, как обалденые, поминали убитых командиров, особенно комполка товарища Баринова, и делали двойное сальто, несмотря на возраст. Они были молоды во время войны в возрасте стервеца Серёги, но мудрые, как столетние старцы, потому что много повидали ужасного и хо-

рошо знали цель своего предназначения — освобождение всего мира от рабства. «Сбросим нахер иго это, и дело с концами, кранты значит, — говорили солдаты, — после отдыхай, брат, кури махорку или самосад крепкий, приобретай фуфайки по дешовке, новые сапоги и кирзовые менять на барахолке хоть на яловые стоптанные, прикупай себе кепку или фуражку последнего фасона в магазине «Мода», и гуляй, братва, от рубля и выше до самого Иртыша, а то и много дальше, бери загорелых барышень за неслабую талию, уводи их в кусты, жарь там, да похваливай жизнь, которая задалась с самого начала, такая нам удача выпала и историческая миссия, пей водяру, мужики, или напитки иностранного происхождения в компании освобожденного нами и благодарного населения, рисуй себе на стеклах вагонов, везущих нас на родину, узоры в виде звезд любимых и серповмолотов...»

Из воды вышел Григорий, чистый, обновленный весь, с новыми мыслями в голове, а Никифор, тестя его, старый хрен, намекнул соседу этажом ниже, что цветы умирают от жажды, и опустил через окно кусок старого шланга, который украл позавчера в гараже, где выпивал с шоферней местной. Струя ударила средь жаркого и даже пыльного дня со всей мочи и прямо вувечного прохожего, который шел, подпрыгивая, с лицом напряженным

и желтым как лимон и не то пел патриотическую песню, не то строчил из пулемета «Максим», расстреливая кого-то, а был никто иной как Черепушкин Григорий, ветеран многих баталий. Ему во время финской незабвенной кампании зимней пуля попала в коленку. Цепкий был белофин-снайпер и целился с дерева метко, весь в маскхалате, на рожу ужасный тип. Возле самой линии Маннергейма дело было, где их полк залег и ждал дальнейших распоряжений. Не один день они там пролежали в таком безвыходном как бы положении, когда даже встать, размяться невозможно было. Григорий отморозил все пальцы на левой ступне, и их ему потом в санчасти оттяпали. Они, то есть солдатики, в сапогах по простой портянке были и ветхих шинельках, а мороз под сорок заворачивал, скрипели мачтовые ели, пищал гранит, пела унылую северную песню дальняя дорога в странную страну Суоми, тяжело дышали, стоя над ними, офицеры в белых тулуках и рыжих валенках. Полковник Баринов, когда увидел такое безобразие, руками замахал и закричал прямо по-матерному, открытым текстом, солдаты слышали, что надоело ему, блянахуй, за свою жизнь личный состав хоронить по чьей-то непробиваемой дурости, дальше больше расходясь, кроя непечатными словами и целыми сложносочиненными предложениями, шпарил только так, дай Бог, каждому, а пехота же-

лала ему многих лет жизни за такую доброту, чтоб прожил он столько и еще столько и дожил до окончательного освобождения народов мира и исцеления наций от порока разъединения и заблуждения насчет своего национального отстранения. Потом встали, которые могли еще, а остальные остались лежать примерзшие и, если живые, то ожидающие помощи, а те, кто мог двигаться, шли по Крепостной улице, что брала круто вверх, и пели о свободе и победе. Стучали ложки, кружки в рюкзаках, скулила гармошка, и многие уже видели себя инвалидами на тележке посреди базара, где грязная лужа, пахнет дрянью, но в каждом ларёнке продаётся дешевое вино и пиво. Чем не жизнь, братья? Примешь дозу и орешь себе во всю глотку хоть до вечера против гадов, которых всех перебить надо, про их поганые рыла, и как били их, да мало. Из-за заборов в служивых летели камни несознательной части обывателей этих мест, которые видели в красноармейцах только оккупантов, несмотря на объективные причины, а ведь они от всего сердца пришли помочь. Честное слово. Да никогда в жизни Григорий наш не обидел просто так ничего живого, тем более иностранца, особливо своего брата, славянина, какого они освобождали так часто, что просто со счета сбились и путали страны, то ли Польша это, то ли Чехословакия, или даже вообще Болгария, в голове все спуталось от постоянно-

го употребления за ихнее счастье и процветание слиновицы, выборовой, смородиновой или апельсиновой, не считая нашей московской. Бабы завоеванные — вот кто к нам лояльно относился, без всякой спеси. Воины брали их за живое своим видом боевым, и средь них кривоногий почти карлик Григорий был ничем не хуже других. Он щипал их, как кур под праздник Первое мая, а они от него кудахтали почем зря и, словно ошпаренные, вылетали из курятников, сараев, сеновалов или взятых с боем хат. «С прибылью вас, бабоньки!» — кричал им герой, покидая освобожденную территорию, обильно политую обоянной кровью, желая им всего хорошего, а они махали цветастыми платочками и украдкой смахивали слезы: так привыкали женщины к военным, что не хотели другой раз отпускать освобождать дальше.

А у полковника Баринова Кузьмы Кузьмича на этот счет своя теория была в виде версии, подтверждаемой практикой повсеместно: что, мол, чем больше женского населения нам враждебного солдатики оттрахают (особенно немецких фрау почему-то подчеркивал постоянно), тем больше нейтрализуют воинственный дух их и снимут агрессию в настроениях. Освободители это на ус наматывали при взятии Берлина, который им отдался наконец после упорного сопро-

тивления, а немцы как предчувствовали: видели солдаты и офицеры наши там ихние плакаты, на которых наш боец победоносный катит перед собой тачку, а на ней все свое имущество, то есть родной, советский ХУЙ. Гигантских размеров. «Ебите их, ребята, в пух и прах, хвост и гриву», — рекомендовал бывалый полковник перед строем после обеда, когда стояли еще под Краковом, и они уж постарались, чудо-богатыри, хоть и пытались почти впроголодь. Очень много злости накопилось против врагов, вот в чем все дело.

Только б дорваться, падла, мечтал Гриша Черепушкин, тогда еще сокол. И наконец — вот она, вражеская фатера, куда он ворвался с автоматом Калашникова на груди и одной мыслью в уставшей за время похода башке: добраться наконец до белого дебёлого тела этой нерусской сволочи. А она сидела у окна, как будто поджидала кого, и пела песню про прекрасную деву. «А, — подумал Григорий, — гнида!» — и сорвал с нее парик немедленно. Для начала. Поиграть с ней хотел парень. Под ним же, представьте, совсем ничего не было, лысый то есть абсолютно череп, скользкий и блестящий. Облитый притом зачем-то керосином. Хоть ты поджигай ее, падлу-дуру, чтоб горела ярким пламенем, как родина ее Германия. «Склонны они к жертвоприношениям, эти немки», — заключил

Григорий, едва не бредя и мало понимая, что творит, дал сапогом по венскому стулу, и кукла упала навзничь. Разбилась вся натурально на кусочки, потому что фарфоровая была, а чулочки такие эластичные, беленькие, совсем не практичные. По ним же сверху струился ручеек крови. Он сначала избил девку как следует, для порядка, приговаривая: это тебе, курва, за Брянск, это за Сталинград, а это за Смоленск, гадина, и так далее, перечисляя долго, пока не дошел до Берлина, усталый, потный, грязный, грозя постоянно культей, завернутой в тряпочку на память от лучшего друга Феди из четвертого эскадрона, который был полностью уничтожен итальянскими танками под Ростовом.

«Помню, когда мы наконец прорвали окружение, — рассказывал потом Гриша дружкам по парилке уже после демобилизации, — и прибыли на место битвы с опозданием ровно на одни сутки, там только проститутки, которые шли за солдатами от самого Рима, сидели и плакали, потому что в жизни не видели такого количества мужского мяса вперемежку с конским в одном месте». Фрау ж его, Гришина, просила прощения, стоя на коленях возле подоконника. Выла, как сука, у которой отбили кобеля товарки по стае, а злые люди впридачу выкололи глаза неизвестно за что. Григорий, ни слова не говоря, прибил ее гвоздя-

ми к полу, чтоб не дергалась, а сапогом выбил все зубы начисто. Штыком после щекотал ребра вволю, а на лбу написал тесаком — овчарка немецкая. И только после таких предварительных процедур взял ее, как говорится, медленно, но верно. Нежно даже, ласково, не мучая, не увеча во время акта. Добрая была немочка, при всех делах, в теле такая дамочка. Аж через сорок лет — как вспомнит — текут слюньки. Когда кончил, облил ее всю бензином и запалил нахер вместе с хатой. Она хотела, он слышал, удаляясь от этих мест проклятых, орала, как бешеная тварь, ругалась на чисто русском мате с легким советским акцентом, будто и не стопроцентная арийка, а наша рязанская баба. Она стояла у него перед глазами и лузгала семечки — в разорванной, окровавленной блузке, домашних тапочках на босу ногу... не какая-нибудь шалава...

«Бабы-то там, мужики, между прочим, первый сорт прима», — хвастал потом в бане Гриша после победы, разумеется, в бане, где дружки его, попарившись, пили пиво, а наверх пускали водку, чтоб не было криво. И всякий раз, как развивал эту тему ветеран, приводил для примеру слова полковника Баринова, покойника, которому снаряд полчерепа снес под Веной, о пользе нейтрализации зарубежного отребья женского пола путем

осеменения. «Правильно», — соглашались с ним поддатые, распаренные, краснорожие мужики наши, кто с Поволжья, кто с Украины, Закавказья даже, и с давно освобожденной Прибалтики. Ее наша Красная армия одной из первых освободила, и вывела на чистую воду Балтийского моря буржуазных правителей прогнившего режима, лакеев международного империализма. «Су-к-ки, они, сук-ки проклятые, — кривлялся по этому поводу, еще, по-видимому, не совсем очнувшись от мороки парилки, ветеран трех войн и одной революции Петр Поддягин, потрясая отстегнутым в предбаннике протезом, а потом вращая им над головой, — я б их огнем всех спалил, блядюк, нахуй, со всем их имуществом, хатами и потомством блядским, не нашим!» Так кричал он и бился в припадке падучей, словно пророк какой, приведя мутным взором взорванные переправы, новые освободительные войны и скорый Даманский как репетицию более грозных событий, где наши дали просраться китайцам, положили и пожгли их немало, чтоб не выделявались узкоглазые черти и знали свое место в истории вплоть до полного освобождения. Тут и другие мужики не выдержали, расходились под влиянием винных паров и всей атмосферы банной, способствующей душевизлиянию, начали вспоминать весьма эмоционально, хватая друг друга за локти, пятки

и затылки, остриженные под бокс — мода того времени — а также показывать раны и клясться отомстить за все гадам ползучим. Одни притом только трекали что-то малопонятное, некоторые вообще лишь языками щелкали на манер узбеков в рваных халатах и тюбетейках на лысых головах в тихих залах наших музеев боевой славы, где опытные экскурсоводы вешают неумытым кочевникам и хлопководам и льют воду про подвиги комиссаров, гибнущих от кулацких восстаний, толкуют непосвященным про летчиков, идущих на таран за Сталина, о танкистах, горящих в подбитых танках, не доживших немного до освобождения Европы от тиранов...

Метались страны, и на каждой улице стояли капканы не для лис, а для потенциальных убийц. Небоскребы были только продлением вигвамов, а сами туземцы выглядывали из-под каждого гладкокожего американца, жмурясь от удовольствия. Смеялись металлисты всех времен и народов, и каждый лист, написанной заживо истории, сменялся белым пятном на желтой роже конкви-стадории. Плясали голые по пояс чернокожие жители потного континента, для которых сигареты «Кент» — восьмое чудо света, и пустая пачка — реликвия. Они лыбились белыми зубами, не желая менять религию, но приветствуя освободителей

покачиванием бедер, избирая себе вождей из народа. Они сидели на чертовой коже и улыбались себе подобным, поедая плоды манго, не брезгая бледнолицыми. Гримировались актеры в далекой Боливии: кто под Нерона, кто под Калигулу, а Италия страдала от переизбытка пушечного мяса и освобождала Марокканскую блудницу от лишних перстней и иных украшений раскошного тела, как цыгане ласкают украденных кобылиц, а они лижут им щеки, — ластятся пышной гривой. Грозные времена ударили тогда в громкие тревожные колокола над обнаженной, словно на показ, увозимой быком (обличье Зевса), а после освобожденной кем-то Европой, чья одна жопа — произведение искусства... Она притихла, и хотелось кусать ее за бока и ляжки, целовать в зад и плакать от чувства вновь обретенной свободы.

В Польше или Чехословакии щадили наши чудо-богатыри, и неслась русская плавная речь с гортанным советским акцентом. Цены были на все тогда не высокие, а люди вообще стоили копейки. Женщины кидались в радостные объятья пропыленных потных солдат, будто под танк со связкой гранат, без задней мысли. Пятнадцать стран признали себя побежденными и выступали теперь только в роли бывших оккупантов, а правители их казненные иначе, как главари банд, не

вошли в историю. Пали оковы с натруженных шей и худых, почерневших от безысходности ног народов Востока. Освобожден, наконец, многострадальный Китай, и узкоглазому, желтолицему населению наконец-то вздохнулось широко, глубоко и привольно под великой тенью мудрого Мао, а маятник истории опять качнулся вспять, и орды варваров стали, как восклицательный знак, у ворот Рима. Туда был послан немедленно эскадрон быстрого реагирования летучих гусар, сердца которых воспламенялись как спирт при первых слухах о любой несправедливости. Им подобны были в какой-то степени комиссары в кожаных куртках с наганами, страдающие от жары, холода и лютой ненависти тех, кого они ринулись освободить от прежних устоев и веками усвоенных дурных привычек рабской жизни. Для ихней же пользы, бля!

Алел восход новой жизни, и благовестил поп приход нового Мессии. В простой кепке на большой голове с открытым лицом и прищуренными хитро глазками народного освободителя. Китель на голое тело, бородка клинопесью, маленькие усики щепоткой, татуировка по всему телу — век свободы не видать, а дальше по-матерному туды и сюды до самых пяток. Он может косить, молотить, топить печь по-черному, забивать козла вечерами и топтать баб по выходным, скакать верхом, бить

под дых неожиданно и ходить в простую уборную по-большому. Но, в общем, человек, советский, но притом совершенно гениальный. Исключение то бишь из правил. И рушились сами Бастилии при одном упоминании и приближении тех, кому ненавистно было само слово тиранство. Миллионы рабов всех цветов кожи, разреза глаз, оттенков рас и бесчислия вероисповеданий пали на колени перед огромной статуей Освободителя и молили об освобождении, как о единственном в этом мире благе, для которого стоит бороться, победить или умереть. Выли волынки в Шотландии, исходила стоном аккордеона Франция, губа не дура Германия играла на губной гармошке, отдавалась чуть ли не за трежу Португалия, корчилась в агонии свободолюбивая Британия, давились от горя по-рабощенные народы Швеции, Норвегии и Швейцарии, в общем, Скандинавии. Маленькая Голландия, голая по пояс, трепетала при одном виде американского звездно-полосатого флага, а наглый янки чесал яйца и в болт не думал. Испания замерла перед Франко, как зебра от тяжелого взгляда короля джунглей, а мужчины ее прекратили гладить рубашки и бриться окончательно. Так ненавистен им был диктатор и мировой империализм. Повсюду бастовали сознательные рабочие и катали в тачках к морю или, по крайней мере, к грязной, как свалка, речке ненавистных им хозяевов — масте-

ров, инженеров, начальников цехов и другое начальство. Японцы шли тесно сплоченными рядами и колоннами против императора Херокито, и самые смелые из них делали себе харакири, чтоб получить железную чашку риса. Роились насекомые в трупах непогребенных арабов, покусившихся на глоток свободы перед лицом и сапогом осанистого сионистского агрессора.

О свободе с большой буквы толковали проповедники и лекторы-международники, ученые и музыканты, патриции и плебеи, писатели лауреаты сталинских премий, грузчики и железнодорожники, учителя в самой глубинке России... Туман и гарь, как во времена ужасного змея Тугарина, вновь повисли над всей землей нашей, заволакивая самые светлые умы и чистые головы, а в Лондоне, родине парламента, родился настоящий смог. Он рос, плодился, размножался, множился. Смеялся над нашими жалкими потугами, обзывал варварами, рвался на части, но вновь соединялся в единое целое, не желая делиться награбленным и помаленьку превращаясь в то, что свободолюбивые люди обоих материков любят называть Ярмо и Иго. Турки делали отчаянные попытки прекратить китайские пытки, а заодно на грани самоубийства свергнуть своего ненавистного шаха, а решительные кампучийцы, не желая отстать от

цивилизации, не пожалели шести миллионов своих сограждан во имя торжества справедливости и победы над сном разума. Для гармонии всей нации, когда не надо платить дань богатым и думать о покупке нового автомобиля заграничной марки.

Мерещилась также ближе к вечеру такая вот блажь: будто темное, несметное войско наступает на нас откуда-то с севера, захватывает Сибирь, Приуралье и даже, отчасти, Центральную часть. Мы строим танки, флот, пушки, пулеметы, делаем коктейли Молотова, но все напрасно. Ничего не помогает, хоть убей. И вот тогда, в самый критический момент, встает Великий вождь в большой фуражке и произносит решительную речь, будто сносит все старое, застойное, отжившее, и от этой могучей речи тают снега, текут реки вспять и скрещиваются соловей с кукушкой. Звенят ручьи, поют скворцы, голубеют небеса, краснеют звезды, блеют овцы, и с новой надеждой чернеют яйцы у негритоса. «Ни шагу назад, стоять насмерть», — гремит Великий вождь в большой фуражке, стоя на высоком крыльце, и падают поверженные мощью правды вражьи черные стаи у самых ворот столицы древней.

Я был оставлен без наставника, штанов и даже трусов вблизи упомянутой кучи и привязан к де-

реву той, кто ловила в это время в пруду карасей и вела поучительную беседу с русалками, отжимающими волосы в тихую воду. Позыв блуда или белая, как мытая посуда, мысль о спасении? Многословие или словоблудие как предисловие к великой Книге Жизни. Серый жмых на похоронах Венеры в таврическом дворце рядом с домом — содомом его Величества, в подвалах которого хватило яда на трех исторических лиц: Георгия Распутина (распятого за секс и склонность к мистике), психиатра Бехтерева, лечившего Николая Второго и впоследствии признавшего Сталина параноиком, и, наконец, самого Иосифа Сталина, павшего жертвой коварного заговора. Сгодилась отрава для этих, по крайней мере, важных персон, к одной из коих Птица и сочиняла на ночь глядя письма. Она хотела знать точный ответ на вопрос: кто в нашей стране главнее — психиатр, эрото-мистик или палач миллионов?

Я несколько раз слышал, как она пыхтела в подвале, где темно, сырьо, и живет мертвая Крыса, среди обглоданных костей украденных младенцев, и думал, грешным делом, что все это похоть и ловля Вепря. Павел был ей в те же дни не помощник, потому что читал проповеди птицам вольным, а Александр уже понимал толк в самогоне и обладал кухаркой Марьей, которую засту-

кал в загоне и обработал палкой по пяткам. Она курила махорку и ругалась, как пастух, отправляя коров на бойню к той самой матери через весь сонный поселок, когда звук кнута подобен стону бича по ту сторону кормушки. Ее большие груди повисли, как тяжелые матрасы на заборе психбольницы, и она дышала так тяжело, как шахтеры в забое, орала: «Да забодай тебя бык!». А самогон все капал из сосцов, бежал по животу, заливаясь в пупок, и ощущение было такое, будто над вами повисла шаткая кровля и вот-вот придавит.

Хам и сам уже ругался давно, не мальчик ведь, живя бок о бок с народом, на шее галстук в горошек и грудь волосатая... Она любила его и называла здесь самым главным, он давал ей деньги на вино, а потом, приблизительно в полночь, они удалялись в глубь сада, где была беседка, и пахло яблоками, которые были рассыпаны по полу. Нашептывал ей что-то на ухо, а она смеялась и обнимала его голову. Он наконец раздел ее наголо, побросал предметы туалета где попало, что на подоконник, иное на абажуре повисло, засты свет, и разложил на шаткой кушетке. Расправил, где мог, жировые складки, развернул плечи, целовал груди, унял кое-как зуд в чреслах... дал напиться из кадки дождевой водички, сунул в большой красный рот папироску...

Да, погода не баловала нас, честное слово, и от этого на лице Павла надолго легла какая-то нездешняя суровость, и впалость щек намекала на аскетический образ жизни скоро после прозрения. Среди наших елей, прошитых автоматными очередями, соитие с народом через общение входило в обряд ритуалов, как ежедневное сношение с молоденькими девочками, как прививка против Мары или обольщение жизнью в некоторых буддийских сектах севера Индии.

Шел дождь, и близка была осень, когда налетел вдруг ураган Жулиан и повалил всю липу в аллее, которую я лелеял еще в прошлом веке, когда вас никого не было на этом свете. Ведь вы все только родились и даже не крестились, какое ж у вас зрение! Вы близоруки и много не видите, не замечаете даже великого Глухонемого, что развалился в кустах за развалинами церкви и дует не в нос, а в насос. Она, я имею в виду Птицу, сама отнесла ему эту роскошь по доброте душевной, взяв на время у владелицы дачи направо, той самой старушки интеллигентной, которая любила на ночь Чехова и подогретое молоко с гренками. Впервые ее засек крепыш Афэт и побежал доложить Хаму, который возился с постройкой нового каравансарая (рядом пасся заблудший верблюд, а между горбов восседал я, как влиятельный турок). Ма-

рья же стряпала и гоняла муж липких над убитой серой кошкой; не было времени (подгорало блюдо) вынести ее на помойку. Однако по дороге повстречал Сима, который только что отоварился керосином в магазине на горочке и спешил вниз на велосипеде почти на спущенных шинах, а за ним туча саранчи в преддверии праздника 7 октября. «Отдай находку», — попросил Сим Афэта, имея в виду преславутый насос, намекая на велосипед, который был просто на ободах, а тот повернул нос по ветру и вопрошал Павла (тот шел ловить рыбу и не брезговал Птицей, которая по-прежнему вела дискуссию с дохлой Крысой в недрах нашего дома о том, что лучше — отравиться или устроиться на работу по душе), кто мы: грязь, или жужжащие пчелы? «Могла бы быть диспетчером на станции женщина при ее-то образовании», — рассуждала здравым крестьянским умом соседка их Варвара, варя картошку на закуску, поджиная цирюльника Ивана с бражкой и дуя что есть силы на горячий кисель. Глухонемой сидел на лавке в самом углу под иконой и хлебал щи деревянной ложкой. Он называл это «поесть на халяву» перед тем, как сесть верхом на лошадь и отправиться на другой край света. Ведь, если на чистоту, без химии то есть, все мы на рубеже, братья, и взять нас за жабры — нечего делать. Варя посолила варево, и оно запахло. А Марья наложила порцию Хаму, не за-

была и Сима, да побольше крепышу Афэту. Мысли же ее были полны хахалями, очевидно по поводу воскресенья, среди которых преобладали отставные пожарные и служители бани.

Одна нога здесь, другая там. Я путешествовал во времени и пространстве, пел, что хотел, и был бодр, как курок нагана, но и отвратителен в глазах окружающих, как кто-то, о ком с презрением говорят даже дети: он здесь нагадил. Вошь на аркане, этот шаблон для детсадов и интернатов. Землянка в три наката, да сон с прихрапом. Кусок в горле нечесаного, неумытого Глухонемого, который застрял в нашем селении и никуда не собирался уходить, судя по тому, что не рассчитался еще ни с продавщицей Дашей, ни с цирюльником Иваном, наглым, как таракан. Гром и прозрение под тенью от старой ели, прошитой пулеметной очередью (чтоб вы все облысели, шкуры!) в прошлом апреле. Аккурат на день Дурака, когда крестьяне хоронили красного петуха, последнего в селении, и думали, кому бы вдуть раз пять или шесть.

А потом и прочь от сих гибких мест податься хоша и в город, чтоб не помереть тут с голодухи. Старухи каялись, кланялись кому-то невидимому и чуть не мочились от страха. Народу-то, батюшки, сколь пришло в движение, и все воют,

свят-свят. Я насмотрелся на это вдоволь, вернулся домой уже вечером и включил телевизор, чтоб немножко отвлечься. Разделился до трусов, выпил стакан водки, написал еще пару строчек моей повести, в которой хотел повесить эту хулиганку Птицу за крылья, но передумал в самый последний момент, потому что она подошла к столу с печальным взглядом и подала мне очень вежливо сочный гранат. Потом сидела где-то рядом и пела на ночь глядя про моря, горы и долины, где наша армия бьется с гадами, срубив у гидры уж не одну голову. Ее голос был мне как кирпичом по сердцу, и я, приняв еще дозу, обернулся полотенцем по пояс и съел этот гранат, чтоб сделать себе хуже. После набросился на Птицу с каким-то даже остервенением, компенсируя, по-видимому, нереализованное творческое желание, по крайней мере, сублимируя его по мере сил и возможностей помещения. Вставил ей в рот кляп, связал и долго щекотал ржавым ножичком, подогревая пятки керосиновой лампой. Она только ежилась, но не дергалась, осознавая, в чьей она власти — хотелось ведь оставаться герoinей полусказки.

Троцкий (я видел в угаре страсти) стоял в малиннике без трусов, в одной длинной рваной рубашке апаш, лениво жевал бутерброд с колбаской, а думал, мудак, только о перманенте стре-

лок своих новеньких брюк и бриолине зачесанных кверху волос, да еще, как обычно, привычная мысль полоскалась в мутном сознании — как бы хоть чем-то нагадить товарищу Сталину, который в этот миг сидел у себя на ближней даче в компании верных друзей-кунаков-товарищей: Молотова, Кагановича, Ворошилова, Берии и Хрущева, а на стол подавались еда и вино. Они только что вволю наигрались в очко, отложили карты. Хрущев наплясался вдоволь и скинул сандалии, Ворошилов отбросил баян, Каганович — сапоги, которые тачал в свободное от государственных дел время. Все сидели тихо и ждали, что дальше будет. И тогда Stalin взял в правую руку вилку, в левую — острый нож. За спиной его стоял Берия в мафиозном плаще и шляпе а-ля Аль Капоне и лузгал семечки прямо в рожу Хрущева, но тот на судьбу не жаловался, грех ему было, просто-му шахтеру. Каганович в тот момент почему-то пожалел первый раз в жизни, может быть, о том, что не стал сапожником, знаменитым на весь Бердичев, уважаемым в городе и признанным среди местечковой элиты. «Игра Фортуны», — подумал с ним в унисон старый сукин сын Ворошилов и снял фуражку (потел затылок), как будто хотел отдать на время подержать кому-то тяжелую голову. По крайней мере, так оно показалось подозрительному не в меру Берии, и он икнул

в воротник пыльника, не в силах более сдерживать позывы чрева — хотелось и очень пожрать поплотнее, пожевать чего-нибудь пикантного на пустой желудок. (Он только что отлично искупался с одной брюнеткой и чувствовал себя превосходно.) «Все ублудки», — подумал проницательный Сталин, повязывая под горло салфетку, ибо трапеза предстояла нешутейная. Генерал Власик, в прошлом казачок, подавал на стол, как делал это постоянно со временем осады Царицына, хоть и превратился с тех пор в высокий военный чин. Блюдо было огромно, и кровь с него капала на пол и сапоги приближенных. «Что там у нас сегодня?» — спросил Сталин, имитируя восточную хитрость, оживленно улыбаясь, подергивая нетерпеливо усиками, смахуя это дело бровями, чуть не шевеля ушами, что, впрочем, за него охотно делал смышеный и способный Ворошилов, у которого на конце шашки в лучшие времена (штурмовые, например, ночи Спасска, или вообще волочаевские дни) помещалось до сотни врагов зараз. «Жалко, Буденного нет с нами, — думал он огорченно, — посмеялись бы потом, да ладно, расскажу все в деталях старому хрену».

Ведро горчицы стояло почему-то под столом, а в нем большая ложка. На лавке — всякая травка, лук и аджика в банке. Сухое вино рядами

у окошка, за которым мелькали голые ляжки прислуги Маши, и чувствственный Берия облизывался, созерцая такое изобилие. Разгуливал павлин, пели китайские соловьи: подарки дорогого Мао. «Вот пожрем и на ложе, спать будем до позднего утра», — решил про себя легкомысленный и ленивый, хотя временами энергичный, Никита, а чуть позже присоединил к пожеланию: «вообщето, как получится». И был прав, потому что все такие организационные вопросы решал тут только один гениальный Коба. «Кабыздох он», — подумал Лаврентий кощунственно, единственный среди этой своры имеющий дерзость мысли, вот только нетерпеливый малость. «Кого-то ждем разве?» — спросил Stalin, посуворев, как во времена неприятных сводок с фронта. И на это только Берия один прошептал что-то маловразумительное, будто лизнул с кончика ножика добрый кусок аджики. Все в душе поморщились от такой борзости министра и пожелали ему моментального летального исхода, а нервный, импульсивный Хрущ чуть было не перекрестился, да вовремя вспомнил, где находится, и аж в пот его ябануло. Каганович матернулся про себя, умело.

Всему, однако, есть время и место — дружеской беседе и кровной мести. Была снята крышка, прочитана предсмертная записка, в которой желалось

процветания дорогому Сталину. Выпущен пар, приколота еще одна шпала туда, куда угодила пуля из нагана, и, как запоздалая награда, — орден Славы. Тому, кто лежал на блюде под паром, весь украшенный парниковыми специями, это все было давно безразлично и в высшей мере до фени. Генерал Власик видел такое не первый раз, потому что привычней, и даже не дергался, застыв как положено по стойке смирно с непроницаемой рожей, на которой написано: только пусть кто пикнет. «Это что у нас, пикник, что ли? — опять поинтересовался Stalin, не боясь утомить подчиненных трудными вопросами не для их умов, втыкая одновременно вилку в глаз поданному на стол бывшему подданному (что хочу, то с ними и делаю, был его девиз с некоторых пор), — или мы просто так закусываем перед совещанием политбюро?» «Лицо-то как изуродовано, не узнать даже», — подумал сердобольный Хрущев, которого тогда всерьез никто не воспринимал, ковыряясь в печени, а Ворошилов, в душе циник, но какой иногда остряк, прикинул, что никак не ниже маршала на этот раз послал Бог заморить червяка, умело и быстро отрезая голень, Каганович же, голодный как черт, наоборот, что-то очень долго, греша на тупой нож, возился с предплечьем. Они кромсали и резали на части бывшего товарища, жрали и давились, чавкали и чокались, а то, что оставалось, бросали огромным овчаркам,

которые собирались в комнате ближе к ночи хватать Хозяина за ягодицы, потому что он отчего-то имел прихоть мяукнуть ровно в двенадцать. Если вообще-то молча и жадно, только Сталин по праву главного и старшего, как по званию, так и по возрасту, а также стажу в партии, бросал иногда реплики типа: «жестковат, падла», или «воняет старый еврей».

Я зря ел на ночь этот гранат противный, я очень скоро раскаялся, когда обкасался где-то под утром, а вместо туалета попал в платяной шкаф, где хранилась вся моя одежда. Наложил там порядком с этого поноса. И хотел поджечь весь дом нахер, да передумал, решил дождаться обещанного акта террора. Птица спала как мертвая на заправленной по-военному койке. Она была далеко не такая прыткая, как в самом начале повести, когда и я был относительно трезв и еще соображал кое-что. Вся была какая-то поблекшая, словно злоупотребляла колесами, как бы вытертая (втиралась, что ль?), полинявшая, одним словом, сильно. О многом она собиралась мне поведать за кружкой пива, рюмкой коньяка, бокалом портвейна, стаканом хрущевским андроповской водки. Но о многом и умолчать, по бабьей хитрости всем известной и еще потому, что ее в последнее время очень быстро укачивало во время возлияний совместных, и она засыпала,

засунув в рот какую-нибудь гадость. А утром рассказывала такое. «Я долго летела, а когда наконец куда-то прилетела, была осень, и повсюду капало, как во время птичьей болезни — три пера.

Я видела рабочих с красными флагами, которые катили перед собой тачку с хозяевами, плескались знамена и алые стяги, слышались торжественные песни, сушились белье, все в крови, и длинные ма-кароны спагетти («Италия, что ли?» — подумала я, как во сне, вся в огне, а после решила, нет, скорее всего, Россия, судя по сутолоке, очередям и суматохе), моряки каталась на такси, но не платили за проезд, зато вовсю палили по грачам, но попадали по церквам, в кабаках гуляла корявая чернь, и дым из них валил, как из труб крематория, где догорал старый мир. Ленин и Троцкий, оба маленькие, почти крошечные, как козявки пузатенькии, метались по огромной холодной зале с серыми лицами, искаженными злобой, а возможно, они исполняли какой-то каннибалльский танец. Кочегар же подбрасывал угольку, хоть мелкого, но очень много, в огромные печи, и рядом холодной волной громоздился студень на розовом блюде, и над ним колебалась (то ли сначала закусить, а потом выпить, то ли сначала выпить, потом закусить) пьяна девка, похожая лицом на Маринку, соседку старика Григория Черепушкина по купе. Она давала всем

подряд в преддверии революционных событий. Собратья по карнавалу в масках, товарищи Свердлов, Сталин, Бонч-Бруевич, Дзержинский, Белобрысов, Рыскин, Клочков и другие мотались по этажам, коридорам, лакейским, заскакивая то и дело в буфет, где еще можно было хватануть на халяву вина и водочки на скороту, ибо они были уже одной ногой, что называется, в ином мире, в котором не будет ни клопов, ни буржуев, ни тараканов, ни хамов, ни граненых грубых стаканов, одни фужеры из синего тонкого хрусталия с изящным звоном, а в них кристально чистая водица из родничка, что поутру приносят румяные бабы на коромыслах.

Птица видела мутные рыла, красные хари, перекошенные рожи, желтые зубы, зеленые глаза, нахмуренные брови, пролетая над всем этим базаром, махая всем им, смертным и комиссарам, крыльями, будто хотела сказать: будет вам дергаться-то, товарищи. Но те, кого аккуратные немцы испокон веков называли «камерады», словно обезумели от прилива новых левых по борту сил, и носились, будто раненые на сносях бабы, визжа как резанные, а сзади за ними за всеми, не торопясь, немного неуклюжий, поспешал броневик нагловатый. В санчасти пальба, перестрелка и стоны недобитых раненых. В казармах — вонь и храп пьяных солдат, проспавших (ну и дураки) всю соль

революционных событий, когда пик острия суется прямо в широко открытые глаза ужаса. Невтерпеж и ша. Матросы в отутюженных заранее к ужину специально клешах вешали лапшу на розовые ушки местных барышень, чье поведение просилось степенью раскрепощенности в Книгу рекордов Гиннесса. Гномы и великаны соревновались в скорости опустошения стаканов. Вкатывались новые бочки из сырых подвалов. Пахло обвалом и мусором всей цивилизации. Мало кто тогда устоял, что правда, то правда. Одни только вежливые японцы, обожающие, между прочим, солнце, помнящие Цусиму и гордящиеся ею в сторонку, как вы пишете в обочину или кювет, продолжали как ни в чем не бывало кланяться, сложив ручки на пузечках. Сверху они были вообще как козявки, также товарищи Троцкий, Ленин, Каменев, Зиновьев, Свердлов, Сопливин, Безголовый и другие.

«Пропащие они души — эти, борющиеся за так называемую новую житуху», — подумала про них Птица, нагнетая страх и ужас поверх телеграфных столбов, на которых еще пусто в ожидании грядущих жертв. Жеванные и выплюнутые за горечью вкуса воспоминания о вчерашнем посещении кинематографа, где известному пианисту, сидящему в первом ряду, оторвали уши на автографы, а у знаменитого певца Шаляпина чуть

язык не вырвали, рассказывал один мужик другому, стоя у тумбы, на которой последние свободы мешались с первыми запретами. Долой сексуальные извращения! Пороть всех умников! Выносить унитазы за ненужностью нужников на помойку! Все на единую стройку! Бить ломами ломовых извозчиков и сдавать в ЧК конторщиков! Стравлять торговцев петушками! Доверять только дворникам! Опасаться печников!

Птица, которая видела и не такое, например, Кампучию, где людей убивали мотыгами по черепушке, простенько и со вкусом, ничуть не удивилась такому, не перекрестилась даже, потому что приучена была, можно сказать, с младых коготков и первого в своей жизни голубого оперенья. Единственно, что ее трогало, так это трепет позывов перед родами общества, беременного выкидышем. А так — ничего больше, ни обнаглевшие кучера, ни проститутки, сбившие все мыслимые цены, ни обесцененные ассигнации, ни коробки спичек в тридорога и даже не открытый в оба конца путь в Сибирь.

«Все было, все», — шептала она двуглавому орлу, что мрачно парил рядом и тоже скучал смертно, бежав брезгливо обрюдоострой наглости толпы, которая готова пропустить сквозь себя лю-

бого и раздавить первое же поползновение к самостоятельному мышлению. Он повис над бывшей державой двумя мордами вниз и дышал туда ядом, в святую Русь, хотя единственno, что склювал сегодня утром, были две морковки, которые на веревочке тащила за собой девочка. «Далеко ль до Питера, маленькая?» — спросил у нее добрый дяденька, а она чего-то испугалась, заплакала, и морковок как не бывало. А тут как рванет...

Птица припомнила, вся во мгле, старушку, про чившую нечто подобное, бородатую эту бабушку в белой кофточке социал-демократки, когда по всему поселку и даже рядом с выселками, где томились ссыльные, стелилась пыль, и зной опалил все нивы. Старуха прекрасно помнила все, что с какого-то борта открылось теперь перед Птахой, раненой в крыло выстрелом вверх из винтовки, как на витрине многоэтажного магазина, в живом виде, так сказать, в натуре. Колченые колбасы и капель, горелые плошки, рваные-дранные рубашки, использованные гондоны, а также всякая канитель по четвергам и пятницам, танцы, шманцы, иностранцы, дранцы, канцы, карусель по субботам, и тошнота, и рвота, и звон в ушах, и громкий голос: все, ша. Но зато и работу, товарищи, до седьмого, то есть кровавого, пота по воскресеньям на благо всего общества и ради светлого будуще-

го. Мы делали это безвозмездно и безвозвратно. Безвольно, безбедно, беспрекословно. Безобидно, безбранно, бесцензурно, нелицеприятно. А на лицах наших не показная печаль, но торжествующая радость в полный рост, и оrem во весь рот о приближении ярких минут освобождения от косности и старого, будто кость, застрявшая в горле, мира, и тех проявлений, которые были съедены еще до первого апреля, а потом выпиты и закусаны, как бешеная лошадь мчится, закусив удила, а мужик больной, дурной Кирюха, смотрит на нее и чешет ухо. «Ферштейн, милая?» — разъясняет социал-демократка в изгнании ни о чем таком не подозревавшей тогда Птице, пока наконец не стало ясно, что пора брать реванш за позорное поражение. «Уж не в сорок ли пятом?» — спрашивает простушка Пташка, а старушка с бородой смеется, трясясь вся по-детски тонко, ну прямо вылитый Чехов, перед тем, как хлебнуть ему шампанского в последний раз, и уже не сесть писать новый рассказ, а подумать, в каком галстуке предстать перед Всевышним. «Вот оно, подлинное освобождение-то», — промелькнуло у него в последний миг. «Кругом же были одни рыла, милый, — заканчивала Птица свой путаный рассказ, — ненавистные хари висельников и тех, кто непременно хотел быть присоской новых начинаний, начитавшихся запрещенных романов».

Темное помещение было подобно сырому и таинственному гроту, и Варвара вошла туда, слегка покачиваясь от волнения. Потерялась сразу же и забылась (билось сердце бешено), забыла как есть все на свете. Она очень болезненная была, потому что нежная, оттого что южная. Из города Ростова сама-то. «Вы какого происхождения, простите, будете?» — спросил ее Григорий Черепушкин в белом халате чуть не на голое тело. Он был пожилой и вежливый, что ей очень понравилось, а то сколько раз она нарывалась на хамство, оставшись наедине с мужчиной. В СВ, например, где она любила путешествовать, так как сбережения имелись кое-какие, какой-нибудь алкаш без лишних слов и предисловий начинает тебя лапать, только треск, и склонять к сожительству еще до того, как состав тронется. Безумные они, мужчины наши, это точно. Она поэтому за несколько дней до поездки на курорт или в санаторий начинала беспокоиться, волноваться, аж пятна по всему телу, и раскладывать пасьянс. Смотря, на какого короля выпадет. Трефовые — те особенно беспардонные у нее считались, да и червовые не лучше, строго говоря. А тут она обрадовалась, снимая кофту, всю в маковых цветах, косясь на человека в роговых очках за столиком в углу. Он что-то бормотал безобидное, записывая, и у рта его полуоткрытого было мокро от слюны.

В остальном же тихо в кабинете с темными шторами и углублением, а прохладно, как в морге, дуло же, она поняла, откуда-то из-под пола. В самой глубинке светилось красным, и туда манило по страшной силе. Странные какие-то ощущения не покидали ее, мешая сосредоточиться на главном. Морочили голову непристойные воспоминания, бились в груди треволнения, как голубь о стекло, стремясь к любимой по ту сторону витрины. Большой бюстгальтер номер девять повесила на спинку сломанного стула, и тот тотчас упал как подрубленный. Варя мало чего соображала, будто слепая и полуглухая идиотка, и не обратила внимания. «Находит же такое на человека», — вспоминала потом с внутренним удивлением. Что-то охало поблизости и чавкало, как на болоте. Бухало и рвалось наружу. Скрипело омерзительно и пело вполголоса отвратительно не по-нашему.

«Гдей-то я нахожусь?» — пронеслось вдруг испуганно в бредовом, но не дремлющем сознании женщины и унеслось несолоно нахлебавшись на край кушетки, обтянутой коричневой скользкой кожей, куда она и сама вскорости присела вся потная. «Ну, рассказывайте, барышня», — сказал рентгенолог Григорий, приготовясь записывать данные. Она откашлялась, взяла себя в руки, приосанилась, потрогала за бока. Ничего, в пол-

ном порядке, вроде бы, только неженка большая и нервная слишком, а можно ли такой быть при теперешней-то жизни? Вся пухленькая, белокожая и чистенькая. Во рту много золотых зубов, на толстых пальцах — дорогие кольца и перстень с печаткой, а в середине — брильянт. Было, что там говорить, не жарко стоять раздевшись, и очень хотелось привратить немного, как она всегда делала в разговорах с мужчиной, набивая себе цену, естественно, если на то пошло.

«Ладно, слушайте, — сказала наконец решительно, будто отчалила от берега груженая баржа тяжелая, — первый раз я этим делом заниматься стала, когда еще девчонкой совсем была и учились в школе», — говорила, возлежа на боку, глядя в темноту. А Григорий уже ходил вокруг нее и около, что-то прилаживая, ставя ее в вертикальное положение, словно бесчувственную, одно поглаживая грудь и круглый, выпуклый живот, а посматривал порой искоса, но профессионально, будто живодер какой, отмечая, что губы ярко накрашены, на левом плече татуировка в виде двухглавого орла, имеющего в когтях серп и молот, а тело все в шрамах от порезов ножом и лезвием, а также синяках от побоев, или будто на ней кто по пьяной лавочке лезгинку танцевал. «К чему бы это?» — подумал удивленно и как

бы несколько отстраненно, словно и не принадлежал человек нашему жестокому веку. Трогая очки, недоуменно заглядывая в рот пациентки не совсем обычной: язык нормальный, большая часть зубов выбита, челюсть переломана в двух местах. «Кто же ее так, болезнью?» — сочувствовал гуманист по призванию. «Интересно, он еще может?» — мелькнуло у нее неприличное в усталых мозгах и тут же смылось пристыженное, как вы усталые падаете в кресло, и забываете все на свете, будто на все забивший парень, когда, побравившись и поодеколонившись весьма обильно, выходит круглый как апельсин и такой же упругий апрельским погожим утром из лучшей в городе парикмахерской в настоящую мужскую жизнь. Пахло остро «Шипром», и по всему — коричневым старомодным ботинкам с широким мысом, черному обширному галстуку, несколько в соплях, так как Григорий имел обыкновение вытираять им нос, забыввшись, и несвежей рубашке — было видно, что человек пожил как следует и много чего повидал в этой жизни. Где-то там, в оставленной повседневности, осыпались цветы в палисадниках, завывал ветер тревожно в трубах, подавалось к чаю печенье «Мария» и клубничное варенье, саднило в левом боку, рвалось наружу нашей заунывной песнью. Григорий Иванович вышел куда-то и долго не возвращался.

Она аж забеспокоилась, зашевелилась: ведь стоять так, обнаженной до пояса, грудью к холодному, было не очень приятно, как вы понимаете, да и для здоровья, о котором она пеклась всю жизнь больше всего, не безопасно.

Вспоминался же от нечего делать Артем Никитич, который носил кожаный плащ длинный, почти до пят, а сам невысокого росточка мужчина был, зато в постели прямо неистовый, герой не хуже Наполеона, поэтому и понимал о себе чересчур много. Всегда придет, бывало, с коньячком армянским или ликерчиком вкусным, ненашинским, зная ее тонкий вкус, и конфетками дорогими в коробке. «Ты, Варвара, — скажет, бывало, подбоченясь, глядя на нее строго, как бы косясь, и снизу вверх одновременно, — настоящая барыня по виду. Честное партейное. Я таких как ты, милая красавица, в былое время оно на тот свет проводил несчетное количество штук. Поэтому знаю вашу сестру досконально и классовым чутьем с закрытыми глазами чую. Мы в сортире таких как ты, извини, в расход пущали за правое дело и, заметь себе, пожалуйста, хорошенько, ни одна падла не жаловалась, но, напротив, все перед тем, как нам их шлепнуть, просили у советской власти прощенья (значит, совесть у них была еще), каялись, сучки, но нель-

зя было быть добренькими, как учил нас товарищ Ленин. Нет, увольте, сударыня, это вам не старое время. А на колени в говно — становись, изволь, и целуй сапоги новым людям. Порой посышь на них, прости за выражение. Дело прошлое. Остыл я нынче, нет того запала, а вот тебя люблю, дуру». Варвара смеялась только и не знала толком, верить ли такому, или сумлеваться. Потом они выпивали по стаканчику, закусывали лимончиком или конфеточкой из его портфельчика, и он исчезал куда-то, пока она слушала Шульженко по проигрывателю, и неожиданно — прямо жутко становилось — подкрадывался сзади и начинал ее душить шарфом, чулком или просто удавкой, а когда она уже хрипеть начинала и закатывать глаза, срывал всю одежду, рвал на части платье, кофточку, трусы, бюстгальтер, бил по роже, топал ногами в яловых сапогах по белому телу, а после делал это самое с ней очень грубо, обыкновенно сзади... Отменный, между тем, был мужчина, царство ему небесное.

Наконец-то рентгенолог явился весь какой-то задроченный, заплеванный, измятый, как из жопы, мокрый весь, в каких-то грязных веревочках, шнурках, а по всему лицу — сопли. Табаком же вонял, как извозчик перегаром, словно пивная бочка. «Продолжим», — сказал несколько весе-

лее, чем прежде. Сел, стараясь не горбатиться, что-то бодрое насвистывая, и приготовился опять записывать. Варвара же, напротив, нахмурилась, но продолжала рассказывать: «Я поначалу мало чего чувствовала, вы понимаете, да и происходило все это на скороту как-то, в подъездах, сарайах, подвалах или, наоборот, на чердаках, и только месяца через пять, на берегу озера, в палатке все получилось как надо, свершилась то есть мечта девушки. Я стонала, орала, мы так неистовствовали, что чуть не разметали эту чертову палатку на части, порвали все-таки нахер...» Григорий Иванович подошел к Варваре сзади неслышно, словно кот на мягких лапках, и присоединил к ее татуированному и синему от холода плечу тонкий проводок. Нажал на педальку, и по ее спине пробежал легкий заряд тока. Потом волна посильнее прошла, и вскоре она вся уже дрожала, вцепившись в его запястье, вскрикивая, и против своей воли, отчасти, вспоминала то, что ей, быть может, не положено было: «Да заеби ж ты меня, парень! — орала, себя не помня, мало сдерживаясь, и как бы все равно неудовлетворенная была, когда он кончил, я от него в тот же вечер сбежала, от сосунка, после того, как у костра распили поллитру, и подалась обратно в город, по дороге дала, что подвез, шоферу «Жигулей», а там, в центре, в гостинице «Россия» познакомилась

с футбольной командой из Калуги, они как раз проиграли с позорным счетом и были недовольные, очень даже грустные, несмотря на выпитое, мрачные и злые, аж жалко их стало всех одиннадцать взрослых, крепких, хорошо тренированных мужчин, и в многоместном номере ихнем живо сдвинули вместе все койки, да понеслось это дело за всю беду под Чайковского по радио, они стали в очередь, как на поле строились, во главе с капитаном, как сейчас помню, Колей, на рожу не очень, но с хорошей елдой, потом уже вразнобой пошло, беспорядочно, заезжали ко мне спереди и сзади, вдвоем, втроем, а в итоге все вместе во все дырки, совесть-то у них была, интересуюсь, навряд ли, сомневаюсь я в этом очень, потому что драли в одиннадцать, что называется, хуев, я задыхалась, клянусь, так как стручки, которые лезли ко мне в рот, щекотали ужасно, и хотелось кричать, плакать, проклиналь все на свете, кусаться и хватать их за все подряд, сама я вся в сперме была, слезах, соплях, жидким говне, потому что тренер ихний, который чуть позже в номер ворвался, не удержался, мудак, и обосрался во время акта, а некоторые из них, футбалеров, потом отвалили и пили из горла, сидя на полу, получили то есть полное половое удовлетворение, ребята, и компенсацию за позорный проигрыш, другие же все не могли насладиться, лудили и лудили, как будто

я вечная или железная, только под утро уже засыпать стали понемногу, а у меня зуд проходить начал, тогда решила исчезнуть я из гостиницы...»

Серёга вышел среди ночи помочиться босиком и без рубашки, в одних штанах и майке. Вшел в туалет и увидел проводницу пятого вагона, стоящую по горло в говне. Оно повсюду плавало в коричневой жиже, заплывало даже в рот и уши, когда вагон сильно болтало или дергало. Серёга ущипнул себя за зад — уж не спит ли он, а проводница рыдала, бедная, и теплые слезы ее текли по толстым щекам, капали на форменное безобразие. «Тетенька, вы что?» — спросил Серый, дрожа; уже не надеясь попить утром горячего чая. Всхлипывая от жалости к женщине и мало чего соображая от смурного сна, в котором ему снились водоплавающие с длинными шеями, острыми клювами и ментовскими рожами. И, конечно же, не подумал даже, чтоб помочь как-то тонущему человеку. «Погибаю я, милый, разве не видишь?» — прошептала проводница чуть с хрипотцой в голосе и едва не захлебнулась, пошатнувшись, будто бухая была. «А ведь дома семья, дети у меня, — продолжала, — вот такой же, как ты, пацан в школу ходит. Школьник он у меня большой. Ты сам-то как учисси? Мой шалопай плохо. Фулиганит, гаденыш, страх! Двой-

ки хватает, пропускает уроки. Был на второй год оставлен. Связался с местной шпаной. Не знаю просто, что с ним делать, с подонком, уже четыре раза в милицию сдавала, недоделка, а ему хоть бы хны, паразиту. Пьет во всю, поверишь? Матерится, изверг, при директоре даже, не говоря уж про завуча и других учителей, даже мать родную ни во что не ставит. А намедни чего придумал, сволочь. Девочку одну раздел догола, обмазал глиной, повалял в перьях, облил керосином и хотел поджечь. Дубина! Во что делает, гад! Ну, зверюга, и все тута. Спички, слава Богу, отсыревши были. Он их в кастрюле взял, которая стояла под окном у нас, где капает. Барак-то с пятьдесят третьего года не ремонтирован. Хоть бы он сгорел нахер. А то еще лучше придумал, скотина. Учудил, как говорится. Стал онанизмом заниматься в школьном туалете практически публично. Поскучдник! Пришлось в дурдом вести, да там долго не держат, к сожалению. Вот такие дела, мальчик, дома-то, а тут такая катастрофа получилась... — плакала толстая тетя, едва не глотая какашки, — а мне б, сынок, пожить еще немножко, хочется очень, ведь батьки у него нет, у пропавшего, помер, алкаш, в прошлом году, обпился дряни, той жидкости, какой чистят примуса, хватил два стакана, потом я с его дружком Саньком разговаривала по душам, так тот признался, что предупреждал

мого, мол, чтоб больше стакана не смел, а тот у меня заводной был, вот кони и кинул... а я ж не старая еще, не уродливая, глянь», — улыбнулась она сквозь слезы и потянула Серёжку к себе, стала расстегивать ширинку, чтобы лизнуть то, что в ней было... Но тут вагон на его счастье сильно качнуло, ее отбросило так, что прямо с головой в жижу нырнула, а Серый, сообразительный и скорый, моментом улизнул, обмазав говном левую щеку, около носа. Вернулся в купе с учащенным дыханием и болью под ложечкой. Съел большой кусок сала, который лежал на столике как подарок старика Григория Иваныча, рассказчика, который и водкой их угостил перед сном, пожевал малость и опять лег. Спать хотелось и сесть одновременно.

Маринка, девчонка Серёгина, лежала на второй полке в одних колготках и гладила грудь, теребила клитор. Ей снился мужик один, лет под шестьдесят с лихом, который долбил ее часов пять кряду, пока наконец она не выдержала и сказала, что ей надо по нужде выйти, прошла на кухню и налила себе во влагалище уксусу, потом вернулась и говорит ему: «Ну, давай, залезай обратно, дядя». Только он засунул, как закричит, будто укушенный... Будет в следующий раз знать, как хамить, падла... идиот.

Серёжка лежал без сна под стук колес и вспоминал своего щенка Никиту, любимую живность и самое родное существо на этом свете, которого он готовил с собою на границу служить, когда призовут в армию, как пограничник герой Каруцупа и его верный пес Джугай хотел быть пацан. У псины один глаз был выколот, другой еле видел, потому что по нему уже не раз били, а на шее выстрижено все и вытатуировано перочинным ножиком при помоши туши — ЖИД. Серый щенка по-разному учил: держал за задние лапы мордой в пламя, кастрировал, само собой, в первый же вечер, как купил на базаре за треху у какого-то подозрительно-го пройдохи, который, наверное, украл где-нибудь дворнягу. Также привязывал его к дереву и стегал кнутом с большим болтом на конце для пущей отваги. «Будь мне верным другом и помощником в ловле шпионов и диверсантов», — приговаривал. Два раза обварил щенка кипятком, проверяя на верность. Тот визжал как раненый, но не убегал, потому что некуда было, да и страшно за себя малолетнего. Потом Сергей ему бока проколол раскаленным на огне прутом и думал, что все — капут ему, но и тут стерпел и выжил, псина. Скулил только жалостно. Не кормил его мальчик неделями и держал в подвале, где собаку чуть не сожрали здоровые крысы. Ничего, и тут не сдался, закалился только. В общем, хороший был щенок у маль-

чишки. Серёжка им очень гордился и, конечно, любил по-своему, хоть и был каждый день палкой для профилактики, чтоб ненавидел врагов наших. Сам же был такой робкий парень, как бы со стороны на него глядя, слегка ёбнутый. Всего боялся и, чуть что, краснел и чесался по всему телу. Опасался шагов за стенкой, стука в дверь ночью, удара в челюсть неожиданного и ногами по почкам. Дрожал мелкой дрожью, когда участковый Козлов ругался и грозил колонией, где его, неопытного малолетку, в первый же день выбут. И терпеть, между прочим, не мог вони из уборной, так что путешествие первым классом оказалось для него на сей раз пыткой. «Выдержу все и дорогой прямой не постою за ценой», — вспоминал он Некрасова, изо всех сил стараясь отвлечься и забыться.

Барышня лет под пятьдесят, а то и больше, что на нижней полке лежала, та прямо стонала вполголоса от такого безобразия форменного и вспоминала против воли Бориса Семеныча с гладкой лысиной, от которой завсегда пахло хорошим одеколоном — «В полет» или «Шипром». Он совершил с ней длительные прогулки до самой речки и обратно, рассказывая про Гренландию, которую довелось освобождать вместе с Красной армией. Там он впервые попробовал мяса отмороженного мамонта, и до чего ж вкусное, прямо

как телятина или, скажем, обезьянина, которой он обожрался, когда освобождали Эфиопию.

Варвара слушала внимательно, чуть прикрыв глаза от наслаждения, и лузгала семечки, а он зевал, зевал, трогал шелковистый зад ее, а потом как даст неожиданно в челюсть и тут же опять под левый глаз. Собьет, бывало, с ног, истопчет туфлями на высоком каблуке, запрокинет навзничь, разорвет всю дорогую одежду и вольется клыками своими в большую, белую грудь, точно упырь из могилы... Да и голос имел загробный еще при жизни, а вид туберкулезный. В остальном же очень хороший человек был, самостоятельный мужчина, грамотный, полковник в отставке, отличный семьянин, парторгом выбран на большом предприятии. Герой труда, между прочим, и исключительно аккуратный мужик. Бывало, завсегда спросит перед этим делом: «Варвара, ты сегодня подмывалась, только скажи честно?» Серьезный такой, надменный, что твой министр, и отменный чистюля, поискать таких среди партийной номенклатуры. Вот почему меня и содержал, уважал, то есть, за чистоту сильно и одобрял это качество во мне полностью. Я ж обычно и скатерку подберу новеньką по такому случаю прежде, чем к столу сядем, и приборы поставлю нетроганные. Музыку какую-нибудь

включу подходящую: Кобзона или Лещенко. Он мой вкус уважал и одобрял, Борис Семеныч-то. «А эти новые, Варвара, — говоривал, — разве поют, милая, какой у них голос, одна дрянь, хрипят только». И махал рукой, а потом бил меня кулаком по голове очень сильно. «Хрипят», — повторял задумчиво, опрокинув стопку белой, заев холодной дыньюкой, а после, царство ему небесное, затихал на диване с краю, лицом к стенке, на которой висел коврик и был изображен Малюта Скуратов, друг и соратник Ивана Грозного, на красном фоне Кремля с карающим, окровавленным топором в мускулистых руках мастера своего дела, для которого бренное тело жертвы только материал, количество которого неизменно переходит в качество. А перед самой смертью, мне передали, одно только слово вымолвил протяжно: «Пи-да-ра-сы». И затих моментально навеки. Успокоился. Большой человек, чего там. Вот какой мужчина отличный был в моей жизни. Интересно все это и не так просто, как кажется на первый взгляд. Она так разволновалась, вспоминая прошлое, Варвара-то, что не заметила, как говорит вслух, а за окном светает помаленьку, и мальчионка, глядя перед собой и прямо вверх, не спит, все слушает, потому что любопытный с самого детства. Слушал, слушал и вдруг уснул как убитый, так и не поссав.

А вокруг были рухнувшие карточные домики убогих построений и провалившиеся в провалы памяти начинания. Головокружения от успехов, как плохопережеванное наспех несвежее мясо, кляп во рту сумасшедшего глухонемого, испражнения вырубленных рощ, пристреленные друиды, нимфы и фавны. Бивни похороненных заживо мамонтов торчали живым укором нам от Колымы до самой до Аляски. Торжество здравого смысла наступило лишь после последней казни Черного лебедя, обреченного, как в сказке, на заклание и ритуальное съедение у пионерского костра очищения. И прощание с летом. Хрипело радио о победе разума, а на улице нас хватали вардулаки и тащили в свои притоны, чтобы там высосать заживо. Великий Глухонемой разделся заживо и хохотал во всю мощь луженой глотки где-то в районе Калуги, глотая таблетки от кашля и щурясь почти ласково, так что недобрый слух о нем пополз по всей нашей необъятной.

Я плохо выспалась и не понимала поэтому, что меня тискают, а во все щели нашей ветхой избушки свищет ветер, когда ж я поняла — стала отбиваться, как могла. Глухонемой мычал и настаивал на своем, а автор этих строк спал сном напившегося накануне человека. Меня тогда называли люди Птица, и в моих заколках золотых и таинственных

в них знаках им виделся намек на разучивание новых гимнов. Я ж сидела, как бабочка, на игле и мало с кем общалась, разве что с бородатой террористкой, которая хотела влиять на меня. Шел восьмой год шестого пророка, период большого терпения после усиленной порки. Гниение духа опасней умерщвления плоти, граждане, а палочный испуг лучше новых двух, и если вы не врете, то вас и не вырвет от очередной лжи в печати, тогда вперед по первому снежку с одной мечтой за пазухой — зарезаться под сыплющейся трухой.

А в бане, на верхней полке, парился больной Глухонемой, в предбаннике же шептались мужики и кляли последними словами перепады со спиртным, вспоминая добрым словом старого хозяина, который после окончания работы расплачивался натурально алкоголем, а теперь и того хлама нет, что полоскал мозги застарелым ядом, гарантируя долгую тоску, сильнодействующее средство, бьющее по голове на годы и годы вперед вплоть до полного освобождения, и приходится идти в лес собирать мухоморы.

Мы, девочки, развлекались по-своему на заброшенном сеновале, собравшем в себя свежий воздух и запах перегноя погибших царств, где аромат сена мешался со старыми устоями, и хо-

телось верить во все хорошее вплоть до второго пришествия. Никто не мог тогда устоять перед моими чарами. У меня была подружка в темной юбке, а в глазах теплилось монашеское нечто. Волосы цвета черной пальмы, и как переспелая вишня (в саду у дяди Вани, цирюльника здешнего) глазки. Мы все перепачкались пороком, глиной и перьями, а сверху нас еще полили бензином и готовили к сожжению заживо за прогрессивные по тем временам убеждения — меня за то, что я умею летать, ее — за то, что не умеет молчать.

Я видела ее, стоящую на молитве в деревянной церкви, где нынче лабаз, а на подгнившей стенке надпись — все вы черти. Я падала перед ней на колени, просила прощения за свои прегрешения, она смотрела отчужденно и просила не плакать. Сверху осыпался песок времени, снизу из подвала рвались гнусные покойники. Мы повязали люк цепями в виде магических заклинаний, а они бесились там внизу, грызли друг друга, рвали на части, выли и кричали о неизбежном возмездии. Крестьяне, те, что остались здесь еще, ходили по деревне пьяные отваром из мухоморов, кричали и предупреждали о Красном петухе. Глухонемой буйствовал и грозил пожаром искупления за грехи совокупления. В центре послания стояла мрачная виселица, и на ней семь повешенных

за опасное преступление против существующего строя, выразившееся в виде высказываний насчет недовольства хозяйственным мылом или тупостью бритв в цирюльне. Иван как непоследний человек в мире, гладил живот свой и вытирая жирные руки об окровавленный фартук. Ему было все равно, парикмахеру, что человека постричь, что барана оболванить или пустить кровь государственному преступнику, особенно же любил нашему родному Глухонемому угодить, подправить бачки, например, за бесплатно, само собой. И проводить до порога с почтеньем, а то и за околицу даже, ибо вышеупомянутый странный тип неизвестно где селился и появлялся у нас наскоком. Так мужики нахрапом берут штурмом винную лавку, невзирая на жертвы, так как жизнь человеческая у них гораздо дешевле бутылки червивки.

Я помню Маринку еще совсем девочкой, смуглой и симпатичной. Когда я подошла познакомиться, она сидела возле бани по над речкой и смотрела исподлобья на проходящих мимо с топорами да косами, а в руках что-то мяла. Она только что из Ялты приехала, где отдохнула все лето с сестрой старшей, которая собиралась замуж за турка, и насмотрелась там на заграниценные автомобили разных марок, а теперь вздыхала и мечтала о Турции, которую видела на картин-

ках в красивом журнале. Всю в цветах ярких, астурция... «Представляете, девки, — говорила она подружкам, — там ведь у них совсем другие стрижки». Те охали или ахали, не верили, потому что страна у нас неизученная, а скорее мифическая, вроде древней Греции. Кто думал тогда, что скоро всю нашу деревню ждет такой падок: покосятся брошенные хаты и почернеют, покроются плесенью колодцы, вымрет оставленный без внимания скот, уйдут прочь люди, и только собачка Пальма (черная, как полуночный воронок) будет бегать как бешеная среди поросших высокой травой улиц и выть жалобно. По праху, оставленному ногами ушедших и умерших да растением Тутом здесь и там — мрачным и высоким, будто на заброшенном кладбище. И выть, выть, будто о покойнике. Она была все та же Пальма, что и век назад, ибо подпадала под закон о райнкарнации животных, не теряя первозданного образа и подобия вульгарной дворняги, как Сталин долгое время был Лениным сегодня. Стариk Кузьмич один, старожил и долгожитель поселенья, мог вспомнить бессловесную тварь во всех ее ипостасях, но ленился вычислять замысловатые петли карм, предпочитая удаляться в лес от треволнений уже малопонятной эпохи, когда, чтоб купить себе поллитровку, приходилось весь день томиться в длинной очереди. Проще надо бы, православ-

ные, проще бы, бормотал он, уходя с корзинкой на весь день в чащу за мухоморами, моля Бога, чтоб не повстречаться ему со страшным Глухонемым, которого вчера еще, казись, видели бабы рвущего кого-то на части в темном бору. Может, это он теленочка задрал, а, возможно, что и ребеночка...

Девушку звали Марина, и линия ее руки была очень даже загадочная. По крайней мере, никто так и не расшифровал до сих пор толком, а многие находились пробовать, даже из-за кордона которые. Она то мигала, то кивала своему клиенту, который сидел напротив в одних трусах и мало чего соображал по-русски. Она-то совсем голая была и пьяная в драбадан или, как на курщине говорят, в усмerte. Видела только его черные усыки и чесмодан, пахнущий крокодилом. «Откуда он сам-то к нам приехал, гад?» — свербило в мозгах, отдавалось в спине, но не могло удовлетвориться целиком и полностью, потому что языков не знала, к сожалению, не обучена была, а жаль. Да и ленивая вся в мать. Та, как провожала ее на съём к Интуристу, об одном только и толковала — просила сапожки ей принести фирменные. Абсолютно без фантазии женщина. Ну, деревенская, бля, баба, что с нее возьмешь. Потом иностранец дал ей стакан виски и попросил вежливо отдаться. Сказал, что в сексе нуждается, как рыба в воде, но опасается непри-

ятностей с властями, так как законы на этот счет в Союзе весьма неопределенны по его мнению. Она закивала, как глухонемая, и чуть не заплакала, вспомнив такое, что нельзя рассказывать тут.

Впрочем, все это ей, наверное, в пьяном сне приснилось, после того, как они втроем — она, Серёжка, ее мальчик, и старик Григорий, рассказчик, выпили водки и отключились, кто где видел. Пахло сигаретами «Винстон», кричало негром за стенкой, ругающим свою жену с явным советским акцентом, пахло хорошим французским одеколоном «Мосце Карвен» и парашей воняло, потому что в туалете уже четвертые сутки не смывалось. Мелькало видами бедных деревень за окном и Чикаго в альбоме на столике, стучало дождем по стеклу, царапало ногтем, билось где-то в груди учащенно после крепкого напитка, а злость к туристу так и подпирала к горлу, и от этого пучило в животе. Она чуть не пёрнула, честное слово, изо всех сил удержалась, закусив губы, переживая за родину. Он был загорелый и стройный мужчина, несмотря на годы, загадочный и, в то же время, простой очень, ароматный такой по контрасту с местной вонью. Слегка нахальный, но без комплексов, не то что наши вахлаки. Только что из Южной Африки сам-то. В пробковом шлеме, рубашке сафари, шортах и гольфах. Ноги накаченные, волосатые.

Он всю одежду снял с себя, конечно, и повесил на спинку стула аккуратно. Предстал во всей загорелой наготе. Зарубежной красе. Хорошо играет в теннис, в гольф вообще замечательно. «ГОТ МИТ УНС», — написано на холеной роже. В чемодане, наверняка, шпалер с маслятами на всякий случай. Член организации БЕЛАЯ ВЛАСТЬ, а по совместительству пидарас, но может и с бабами, лишь бы унять похоть. Хвастал, как выпил: «Англия славится голубыми, ха, я им показал по приезду, кто превыше всех, этот полковник колониальных войск, только что из Вест-Индии, визжал и просил пощады, убегая от меня в одних подтяжках, ха-ха, забыв, как поется гимн "Правь, Британия!"».

«Тоска», — думала она, куря американскую сигаретку, листая журнальчик с картинками, ковыряя украдкой в носу и еще кое-где. А он факал и факал без устали, не боясь заразиться, так его приперло, да и ведь лучше умереть от СПИДа, чем от скуки, что правда, то правда. Рисковый вообще-то мужчина, она уважала, и веселый, это плюс, к тому же раскованный, она решила, когда он наконец кончил. Отвел ее в ванну, поставил раком. Шелковый шепот прошелестел шершавой шторкой. Хлопнуло вверху клеенкой. Лопнуло что-то где-то — может, терпение, а возможно, и презерватив за стенкой штопанный. Щелкнул затвор

винтовки образца четырнадцатого года, встали волосы во всех местах дыбом от ужаса. Во Франции скинули президента, у нас прокатили на выборах первого секретаря, в Германии обоссались правые, в Англии премьер-министра сбросили прямо в Темзу. Ропот вывернутого наизнанку крана: не надо. А после: а, делайте со мной что хотите.

В соседнем номере орала пьяная девица в забытьи: «Яй вонт американ факт!» Интурист почесал правое яйцо и вдруг ни с того ни с сего дал Маринке по харе совсем неожиданно, так что она не успела обидеться, однако, очень больно, аж кровь пошла из носа. «Пошляк, — подумала, — и теперь, наверное, синяк будет под глазом, не хватало еще», — и хотела посмотреть на себя в зеркало, когда он ей заехал второй раз с левой. Потом коленкой снизу в подбородок... она прямо затылком в стену стукнулась и чуть не расплакалась от такой несправедливости, да сдержалась из последних сил, побоявшись укакаться. Голос радио сообщал о перекомах, перебоях, перевыборах, недоборах, переборах и был как варежкой каляной по лицу на морозе, а шорох зеленых бумагек — словно шипенье теплого шампанского.

Вихрь воспоминаний, пока он не вынул члена. Десять ровно сизых рож на той хазе, где она одна,

а подружка Жанна, блядь, слиняла, тварь... Они делали с ней, что хотели: топтали ногами, писали сверху все вместе, посыпали на хуй и в пизду одновременно. Наконец, вообще охамели, дошли до предела — принесли опасную бритву ржавую и стали вырезать матерные слова по всему телу. На спине, ляжках, груди, животе... До сих пор все прочитать можно, кто грамотный и по-русски вякает. Даже на жопе что-то написано не очень разборчиво. Она лежала на холодном полу, связанная колючей проволокой, дрожала, но не стонала, не плакала даже, потому что знала — кто-нибудь да придет на помощь рано или поздно. Так оно и получилось в итоге. Пришли два лесника красногорых, в ушанках с торчащими в разные стороны ушами, ватных штанах, полушубках овчинных, огромных валенках и с одной на двоих двустволкой. Они гоняли по лесу волков и нечаянно набрели на это зимовище. Зашли с мыслём погреться и увидели такое, не дай Бог каждому присниться. Что ж, не растерялись мужики наши. По закону советской совести поставили всех, кто там был, к стенке, всю эту горячую десятку, как они были вспотевшие, руки за голову. И чуть позже, когда стемнело совсем, расстреляли их, как в военное время шлепали мародеров без суда и следствия. Маринку развязали, обогрели, дали хлебнуть спирта из фляжки. Отошла она малость,

заулыбалась помаленьку, а благодарная им была без меры. Это ж надо в наше суровое время... Целовала мужиков, некрасивых, бородатых, обнимала, гладила. Есть еще люди в нашей стране настоящие советские, не совсем потеряна у всех совесть и вера в человека, в Союзе-то.

«Эй, заграница, — крикнула вдруг девушка как в угаре, когда виски упругой струей из брандспойта ударило в шальную голову уже под занавес, — покажи загорелую задницу!» А интурист все пихал и пихал туда ей без устали, будто копил силы всю зиму на Азорских островах. Озорной попался малый, словно из «Плейбоя» картина. Она сама-то спод Курска родом была, да давно из дому сбежала в поисках лучшей бабьей доли, знает, как жить в общагах, переезжать из города в город, бедствовать, голодать, ночевать на станциях, брать в рот у кого попало всего за два рубля или отдаваться за банку консервов «Ставрида в томате»... Пока не познакомилась с Серёжкой возле вокзала, где она ходила как чумная и просила закурить у всех подряд мужского пола. Он за ней долго наблюдал, пока не подошел и предложил выпить. Та не отказалась, не гордая, потому что уже двое суток не спала толком, а вмазать мечтала за всю беду, чтоб отвлечься от всего на свете. Пока шли до барака Серёгина, рассказала вкратце свою био-

графию немудреную, приукрасив немного некоторые факты и кое-что пропустив из скромности, само собой. Она лживая была, хоть и симпатичная. На лице только несколько прыщиков, а прикид вполне современный — кроссовки и джинсы, вот только лифчик немного старомодный, да это поправимое дело. «Я как прикинулась-то, Серёжа, — рассказывала она, пока они курили на крылечке, решив уговорить одну бутылку прямо из горла, чтоб не делить потом с Серёгиным батей, который, наверное, уже с работы вернулся, — мы с Жанкой, подружкой моей, одну овцу малолетку ночью встретили в районе пляжа. Чего она там прогуливалась — не наше дело, а мы ей закурить дали и поговорили с ней немного, потом вижу, на ней тапки клёвые, говорю: «Снимай шузню, девка». Та беспрекословно подчинилась, потом и с джинсами точно также рассталась, и с рубашкой, вот только без лифчика была — это жаль. Мы ее вообще наголо всю раздели, связали, и тут Жанка говорит, что щас мы тебя, овца, убивать будем нахер, а та молчит как в рот воды набрала, не скулит даже. Короче, не знаю, что на нас нашло, Серёжа. Били камнем по голове, ногами пинали, чулком пробовали душить, ковыряли куда попало ножиком, который Жанка постоянно с собой носила на всякий случай, она воровка была и обязательно, если с мужиком побудет, что-нибудь у него за-

цепит, хоть мелочь какую, например, запонки... В общем, бьем ее, сучку, и никак кончить не можем, тогда сообразили, взяли развели костер там из сучьев и бумаг и бросили туда эту мокрощелку, а сами убежали. Вот и все. Только утром решила я из тех мест сдернуть на всякий случай и вот видишь на свое счастье тебя встретила». Она уже забалдела на пустой желудок и обнимала нового друга, целовала его, благодарная за выпивку.

Он ей верил, конечно, потому что молодой был, неопытный. Сам даже доверился, рассказал, как с ребятами одну телку в подвал затащили и оттрахали там во все дырки, надавали в рот и так далее... Ладно, вина у них была полная сумка. Вошли в барак, весело звеня посудой и смеясь во всю глотку. Реготали над какой-то смешной шуткой, так что за стенкой стучать начали, потому что там покойник был в ту ночь и дожидался утра, когда его должны похоронить. Батя спал после ночной смены и хрюпал на всю комнату. Тикали часы кукушка, еле-еле тлела печка, пахло дегтем, керосином, ватником, навозом. В окно был виден кузов большого и грязного самосвала, который стоял здесь уже пять суток и неизвестно кому принадлежал, никому, впрочем, не мешая, стоял с запрокинутым кузовом, как бы делая кому-то вызов. Серёга с Маринкой сели

за стол, крытый рваной kleенкой, выпили сразу две штуки вина, чтоб догнаться, забалдели капитально и еще пуще развеселились. Разделись наголо, включили маг на всю громкость, игнорируя стуки в стенку, очевидно, полагая, что покойнику музыка уже не помешает, стали танцевать так, что со стен, оклеенных пожелтевшими газетами, попадали фотографии, на которых отец Серёжкин был изображен с покойной женой. Развлекается, в общем, по-своему, молодежь. В это время просыпается батька, кашляет, прочищая глотку, тянется рукой за «Примой» на стуле и видит перед собой как в тумане такую картину, хоть стой, хоть падай. Разврат крутой, как в Шанхае. Понимает мужик, что дело не первый сорт, к тому ж за стенкой Петька лежит мертвый, товарищ, который попал по пьяному делу под поезд и лишился жизни в расцвете лет. Встает в одних трусах работяга, которому отдыхать бы после тяжелой работы, все более свирепея, пытаясь урезонить малолетнюю шпану, а та — ноль внимания, еще пуще балдеет, тогда батя хватает со стола нож, которым недавно еще резал сало, и хочет воткнуть его Серёге в бок, чтоб проучить на всю жизнь, преподать щенку хороший урок, но Серёга ушлый был парень, хоть и забитый на вид. У него топор завсегда под подушкой наготове был от бандитов, шпионов и диверсантов.

Выхватил он его мгновенно и, не колеблясь ни минуты, расколол агрессору череп.

Маринка обняла парня, повисла на нем, обожая за храбрость, и сказала негромко: «Давай отсюда уедем, милый». И он враз согласился, Сержёжка, парень в красной рубашке и рваных тапках, в ранних наколках. «А, бичивать так бичивать!» — сказал и хлопнул девчонку по заднице. Он налил ей старку прямо в чайную чашку с краями, а себе вообще в кружку. Они чокнулись, выпили за удачу. Был какой-то праздник, а у нее как раз менструация началась. Ударила по струнам валявшейся на койке гитары, только ничего у нее не получилось на этой хате, где туалет во дворе, и вовсю пахнет клопами. «Да, играть на инструменте, это вам, девки, не хуй сосать, — сказала, непонятно к кому обращаясь, — тут талант нужен, а не одно только прозвание, — провозглашала с умным видом человека знающего, — тоже и старение, образование...» Впрочем, природный дар всегда пригодится в жизни, ведь именно он сделал из Маринки отличную минетчицу, чтоб не пропала девушка по жизни этой дурацкой.

Теперь она лежала на второй полке, гладила грудь, возбуждала клитор. Вагон качало по страшной силе, и она почти кончала, а вспоми-

нала, как подглядывала в окно супругам Клочковым, которые имели обыкновение сношаться при включенном свете. Под утро уже стала Серёге рассказывать, видя, что все равно не спит человек, про то, как по «Интуристу» путанила, чтоб не журился хлопчик, как на Украине говорят. «Ну, а что в конце-то было?» — спросил он, даже несколько робея по неопытности лет. Удивляясь ее смелости беспримерной. «Да ничего интересного. В номер долго стучали, мы не открывали, думали, что уйдут звери нахер. Так нет. Они ж, суки, дверь сломали к черту и ввалились трое человек с автоматами на груди. Мне сразу пизды отвалили, чтоб с иностранцами не путалась, а что с ним было — не знаю. Увели меня. Держали в подвале долго. Кормили плохо. Били, пытали, иголки загоняли под ногти, требовали, чтоб я во всем призналась. Но я молчала, держалась. В итоге выслали из города. С тех пор и шатаюсь, Серёжа, по всему Союзу нашему». Маринка очень разволновалась, взяла в дрожащие руки стакан с водкой и выпила залпом. Заторнула конфеткой. И снова забылась сном. И Серёга уснул наконец и видел сон про то, как он мочил с автомата всех подряд — узкоглазых и черножопых, светловолосых и краснокожих... «Мне б только до передовой добраться, я им покажу, гадам», — билось у него в голове, и выходили боком наставления старика Григория Иваны-

ча, ветерана. А тот спал спокойно и видел перед собой Швецию, которую они освобождали в двенадцатый раз. Палили пушки, пели пули, ревели верблюды, громыхали боевые слоны... Недалече, видать, было до Карфагена, который должен быть непременно разрушен, и уже пахло весной и Ганнибалом, также обвалом в Альпах, просыпаным зерном, забытым самосвалом, борющимся Сенегалом и фингалом под глазом шубатной Маринки...

Я ел хлеб, пил квас, курил «Беломор» и ходил мимо садов, из которых пахло вовсю осенними яблоками и засадой, когда в тебя летят не стрелы татар, но камни местной шпаны. Троцкий, одинокий и всеми оставленный, после того, как погорел, увлекшись самогоном, то есть буквально: я спал, вернувшись от девицы, и видел вторые сны про первых космонавтов, а дом бедолаги Троцкого, или то, что осталось от новостройки, полыхал и потрескивал толем крыши, так, что было слышно очень далеко от места происшествия, а сам горемычный погорелец сидел под деревом баобаб, обхватив голову руками и плакал, вспоминая счастливое прошлое, когда он разливал всем по стаканам с краями «Столичную» — напитки в те времена были до боли дешевые — и ставил на проигрыватель заграничный диск Луи Армстронга. «Замечательный был негр», — шутит Троцкий,

заканчивая процедуру открытия бутылки ногтем пальца, переходя к ритуалу посвящения нас, малолеток, в мужчины. А под окнами в это время топали ногами и хлопали ушами местные мужики по случаю праздника Первого мая. Друг Троцкого, Бухарик, пьяный в хлам, тоже придумал себе занятие по душе — поднимался с третьего этажа на четвертый по балкону, чтоб привлечь к себе внимание обитателей нашего дома, да завис на полпути для продления кайфа, и действительно нашелся сердобольный зритель, еврей Каифа, который посулил беспредельнику червонец, если тот спрыгнет, а ему, Бухарику, только этого и надо было, если начистоту.

Я в те времена то вообще не стригся и заастал, как дикобраз, то носил короткую, как у придурков, стрижку. Узкие брюки, яркую рубашку, книжку подмышкой, избегал кружиться в вальсе, но крутился с удовольствием на карусели в парке, пил чай в Москве, а сухое вино уже в Коктебели. Иностранные туристы бродили по мощенным средневековой брусчаткой улицам нашего города, длинноволосые и рваные, грязные и ободранные, как бродяги в поисках Драхмы, часто пьяные или накурившиеся дури, а я, начитавшись Керуака, думал, что Крым это тоже Мексика, и рванул туда не долго думая. Я называл местных жителей пионами, они

же угождали меня самодельным вином, но смотрели подозрительно как на шпиона, однако, говорили ласково: не журьсь, хлопчик. Там я познакомился с креолкой и поехал на самый дальний пляж, потому что в центре меня просто достал какой-то калека. Он, наглый, как паровоз, подъезжал на коляске к столику на открытой веранде, где я пил мой аперитив, поминая старика Хэма, и устраивал настоящий танец святого Вита, но я ему не наливал принципиально, мало ль кругом халявщиков, а до милосердия нам тогда ох как далеко было! Вдоль пыльной дороги влачилась жалкая арба, запряженная быками, а весь виноград был поражен каким-то редким и неизлечимым, как сегодняшний СПИД, грибком, что послужило, скорее, толчком к переходу на яблочные вина в сторону эпохи великого перелома в психологии работяги. Они плотно сели тогда на червивку и никаких других напитков просто знать не хотели. Я же грустил только о запрещенной у нас марихуане и готов был слушать рок с того берега, который был рядом, оттого и такой громкий, до полного загара, да заплывать на надувном матрасе чуть ли не в Турцию, понюхать их национальный цветок Астурцию. Она, говорят, вся им пропахла, как мы фекалиями, а одуванчиков наших там практически нету нигде, зато процветают частные дувалы, в тени которых хочется слагать стихи и вести себя прилично. Я обгорел, конечно

же, весь капитально от такой жизни на пустынной полосе песчаной загородного дикого пляжа, где только дюны, водоросли по колено да морские звезды и луна, словно Сатана, на синем небе, а желтый песок сыплется медленно, как в часах времени, пахнет известкой, подгоревшей шерстью, хочется грустить и мечтать опять-таки об Аравийской пустыне, что ли... Я обнял ее, черную, как негритянка, для которой наша русская баня с паром — пустой звук, снял набедренную повязку и забросил ее высоко-высоко на куст баобаба, который и в знайной Африке дуб дубом, а единственным свидетелем нашего свидания и любовных мук был голубой и глупый попугай Гаврила, бывший в прошлой своей жизни не то грузчиком в винном магазине, не то арапом в Эфиопии.

Она отстранилась, сверкнула зубами, не ведающими зубной щетки — только мел и кирпич — выскользнула и рванулась туда, где Луна проложила дорожку к мечети, о которой уже призывано гнулся мулла Маудзин. Потом вся склизкая и дрожащая прижималась ко мне возле самого берега, твердым напряженным телом хотела сказать «я твоя», оседая тяжелым низким задом, игнорируя топкое дно, ежилась, кусалась, шептала: «Ну, давай, чего ж ты, парень, небося, я девушка чистая, медсестрой работаю в Ярославле, нас проверяют

на эти дела регулярно, ей Богу не лгу!» Хотелось верить ей и засадить одновременно, но так неудобно держать в набегавшей волне в пору вечернего бриза, когда хочешь не хочешь, а мечтаешь о Сан-Франциско и видишь себя плейбоем из бывших ковбоев. Потом мы переместились на берег из сопротивлений безопасности, и я трогал ее там, где не надо бы... Она застонала, вся извиваясь, как уж, обвила меня ногами, впилась в грудь большими клыками... Вот в это самое время нас и засек луч фонарика, и мы, вздрогнув, распавшись, увидели двух милиционеров, что собирали еженочную дань там, где не пахло шашлыками и добрым вином, но самым крутым развратом на всем побережье.

Где-то рядом, я чуял, поддатый Хрущев в семейных длинных трусах, с большим животом входил осторожно в воду, маня за собой всю свиту и ругая русалок матом. А мы с мартышкой оштрафованы были по-божески на треху, и она, креолка, все ругалась нехорошими словами, когда стражи порядка растворились в густой тьме южной ночи, что, мол, вот козлы даже потрахаться не дают нормально в этой стране чудес. Итак, я обгорел натурально весь, оброс щетиной, ходил босиком по раскаленной гальке, как заехавший не в те края индийский йог, помочил конец и джинсы в пучине вод соленых и зеленых, и хотел уже лечиться от

ожогов кефиром, как вдруг сосед по фатере, толстый хохол с малохольной рожей недорезанного буржуя, в потной рубашке, вышитой национальным узором, в сандалиях с дырками, соломенной грязной шляпе на лысом кочане агронома спод Харькова, порватой на животе майке, из-под которой бледное тело человека, игнорируемого пляжем, предложил угоститься сахарным отменным самогоном из пятилитровой канистры и жаловался после первого стакана на администрацию аэропорта, которая, стерва, не пропустила десятилитровку. «Говорят, узорваться может на борту, да врут же все эти власти. Вот болтают люди, будто два наших самолета столкнулись в воздухе четвертого дни, так усе пассажиры погибли и целая футбольная команда, а вы читали об этом сообщение в газетах, то-то, как я ни бачил вас, двух людин (он имел в виду меня и грустного грузина, который делал с нами апартаменты) возле своей бахчи». Грузин из Батума, спец не по сухим винам, но нашей водке, с серым лицом, костлявым задом в потертых штанах, рваных домашних тапочках с загнутыми кверху мысками, так и не дошел до пляжа, путь к которому преграждал винный, а потому больше лежал на старом, пружины в бок, диване и развивал теорию о пользе полового воздержания, к чему пришли теперь даже и японцы, а в горах Кавказа, оказывается, знали со времен Ноев и соблюдали, от

этого и долгожительство. А потом без всякой видимой связи переходил кою на проблемы удержания власти, утверждая, что русские по этой части слабы, чтоб сами собой править, приводил примеры норманнов, немцев и так далее, а потом заключал неожиданно, будто зря полагают, что Сталин грузин якобы, нет, он турок явный, чтоб мне всю жизнь ходить в ботинках без шнурков. Хохол был очень похож лицом на Хрущева, который вышел из громоздкого, черного, как ворон, автомобиля, которые окружили вокзал, от которого я добирался с югов до дома. Он был в пирожке знаменитом, в сопровождении советников многомудрых в серых пальто на красной, атласной подкладке и ехал в город Минск, чтоб не поймать пулю в хитрый лоб, но помянуть в который раз всуе загадочную Куськину мать (мать Кузьмы, в переводе на тюрский). Катились годы, как срубленные головы врагов народа. Крутились в кафе «Сайгон» (это в Питере) крученные мальчики в круtyх прикидах, да тусовались как контуженные экзальтированные девочки, у которых на уме только попить кофе да помянуть добрым словом Джона из группы «Битлз». Битые всякие доморошенные битники с бородами, патлами под Гинзбурга, те, что у нас плачутся по пьяни об отсутствии свободы на почве перебоя сексом, раскалывали меня на бутылку красной: несносна ибо жизнь начинается, мальчик, когда на смену

одного дурака (имели в виду Хрущева, безумцы) приходит дурак еще хуже (конечно же, Брежnev). Лёня бродил потом долго в нашем парке в своей компании (Гришин, Романов, Рашидов, Черненко). Они заходили в кафе-стекляшка, выпивали и разговаривали неспешно. Поминали Сталина добрым словом, иногда к ним присоединялись суровые сталинисты старой закалки, в плащах хаки, застегнутых на все пуговицы до самого горла. Тогда все плакали и пили за Батю. Потом я, помню, сидел на полу станции «Площадь революции», курил и ждал электричку пригородную до Можайска.

Птица, пьяная в дупль, спала в своем уютном гнездышке отеля «Москва» в обнимку с интуристом. Я же разговаривал с итальянцами на птичьем. Те мне уши прожужжали про Сахарова и Солженицына, я им — про Альдо Моро и Красные бригады. После про мафию начал, но нервные спагетчики, очень импульсивные, слышать не хотели про Сицилию, но развесили уши, когда я им стал вещать про наших девочек, желая их как из пушки (хоть ты лети и буди Птицу), предлагая доллары заочных пташек, да где ж их выпишешь, говорю им, в государстве рабочих и крестьян. Впрочем, торги у «Националя» тогда шли в полный рост, хотя это несчастье только-только зарождалось, и китайцы при Мао, смутно пред-

чувствую Даманский, ругали Брежнева Лёню за эстетство, за то, например, что наш так называемый премьер, одевался на заграничный манер и пил по утрам не русский квас, но мартини, а курил не самосад, но «Кент» или «Винстон». Англичанин занимается джогой, а еврей — йогой. Слыкали анекдот про еврейского йога, который затаил дыхание на целых семьдесят лет? Моя Птица вечная, так оно казалось, по крайней мере, прилетела поздно утром, скинула юбку в прихожей, скинулась красной девицей и прошла в мои чертоги. Пока она курила на краю дивана после первого стакана в предчувствии второго, я думал про жизнь, которая у меня не очень сложилась.

Кровь, пот и сопли после рыданий — наше существование среди развалин предыдущего взрыва, возле красной водокачки, под которую, все знают, заложен динамит, а когда рванет — неизвестно, только определенно не хватит потом влаги в глазах наших матерей, как грохнет и отзовется в подземном царстве, где спит пока мифический кузнец Вулкан: ведь сперма это и есть его лава. У меня все-таки остались копейки после возвращения с юга, и я сидел у стойки, пил какуюто гадость, страдая с перепоя еще у той знаменитой винной бочки, что поит весь Коктебель сухим и дешевым, поэтому жизнь там сплошной

коктейль (воздух, солнце, море и вино), и тяжкое похмелье — попадать после этого сюда, на север, уже под вечер, и дождь осенний мелкий, нудный, где люди собирались со всего света, и все мы как будто братья, но зачем же тогда нас разделяют языковые барьеры, а за каждой портьерой (как у Гоголя по курьеру) вас подслушивают люди в серых костюмах (они-то нас и разъединяют), мыслящие стандартно и желающие быть понезаметней, потому что такая у них работа, не броская и не пыльная, но кидаются в глаза их звериные рожи, интернационалисты и холодные взгляды северных гадов. Бармены кивали мне, эти супермены прилавка, и говорили друг другу, тряся шейкеры, кривя губы презрительно, мол, допился хиппи.

Меня всего трясло, корежило, забивало в правую лузу, ударяло о бортик, было по кумпалу молотом и тянуло все время к низу. На пальце же, о чудо, была надета, не помню кем, золотая массивная печатка, а на ней крупными и не нашими, в принципе, буквами написано: ЛАВ. С ней-то и повесть или загадка, как вопрос на засыпку, для роты матросов освобожденного города Выборга. Я дождался наконец электрички до Можайска, рас прощался с итальянками по-хорошему, пожелав им всех благ и полного освобождения, а потом заснул и проснулся на кладбище. Рядом со мной

сидела маленькая девушка, а могилка была большая и неизвестно чья. Темнело, люди возвращались с работы, на нас поглядывали и усмехались, то ли одобрительно, то ли, наоборот, пойми их, обормотов противных. Выпить же хотелось страх, да и перекусить, ибо только шашлычок южный был на зубах воспоминаний о горе Кара-Даг и одноименном кабаке, где я сел на стул в позу лотоса и отказался платить два счета. Официантка ругалась и грозила не пустить больше на порог заведения, но я был в этих делах дока, если не гений: знал ведь, что завтра поутру сдергию с концами. И вдруг вижу, эта крошка достает из сумки огромную бутыль вермута не нашего и термос со щами. Что за везуха, чуть не выругался вслух! Мы выпили, потом она все с себя сняла и легла на могилку в чем мама родила, но я, не знаю отчего, вырубился, как мне казалось, на пять минут только, но проснулся глубокой ночью и, боясь с детства покойников, побежал в сторону станции, а там при свете электричества обнаружил свою пропажу. Печатка с буквами ЛАВ пропала, как и не было ее на безымянном пальце. Вот и вся наша любовь, ребята, с этой неизвестной, незнакомой, чудной гражданкой. Только шутки в сторону.

Я клал на всех, все на меня чхали, плевали, сколько у кого в дырявых карманах рваных шта-

нов апельсинов из Марокко, медных лбов и длинных как аршин рассуждений о пользе плеток из простой лозы в пору ненужных наказаний на кануне Дня Освобождения, и хватит ли времени (инаф есть инаф) заехать к вам во имя перемен, как дохилить до жизни такой на черно-мрачном-лимузине что возил, марки ЗИЛ, еще мафиозного Берию, а вслед за ним — глупого, приблудненного Хруща и, наконец, самого тщеславного пахана Лёню, вечно едва живого, гутарили громадяне перед тем как съесть окрошку, посыпать себя пеплом, помазать голову гуталином для пущего кайфа и идти, как наши предки шли от всех мирских забот в далекую благословенную Мекку к сумеречному Кара-Дагу, чтоб полюбоваться на замечательных рыбок в чистой воде, а после — сесть в пещеру и под звуки нездешней лиры откупорить древнегреческую амфору, чудесным образом хранящуюся здесь с тех давних лет колхидских, ну а ныне золовый дымок эпохи, случается, проникает в мое окно сквозь маскировочные шторы, а в остальное время суток доминирует лишь заминированная водокачка или броневик, который, как говорят и видимо не шутят, дал жуткий залп из всех орудий по всему святому и проискам зверских крыс, что населяют наш общий европейский дом до самой крыши, пробираясь туда типа мыши, и неизвестно становится подчас, где у нас

пол, а где потолок и запасной выход на всякий случай... А далее, люди, все, небытие и конец будоражащим душу предчувствиям, всплескам совести и рабским насестам ваших общежитий, где жить бы вам да жить, но сама жизнь казалась раем лишь обреченным камикадзе...

Паровоз же наш все поспешал (знаменитая Кукушка) на прогнивший запад, где за гривенник всегда можно купить пирожок с мясом, плюнуть кому угодно в лицо за полтинник, а за рубль — вообще опалить себе усы. Я вышел, и это был вольный город: вращалось чертovo колесо, кували обитатели этих мест, пахло свободой и селедкой, роптали сумасшедшие, выпущенные по амнистии, куда ж им теперь деваться, кричал найденный недавно (об этом и сообщение в местной газете) верблюд с загадочным грузом, отставший в самом начале повествования от каравана и заблудившийся среди каменных джунглей и прихотливых сплетений глав, чуждой нам культуры, но чудесным образом вылечившийся в целебном озере, а иностранные туристы вовсю курили анашу и восхищались нашими женщинами (их опыт: Наташа, Роза, Рая), а место встречи — грязный караван-сарай, где в стенке ржавые гвозди. Я пошел прогуляться по городу мимо памятников человека с ружьем, ржавого Танка, Кидающего гранату, Рвущегося на части, Охраняющего нас Штыка, Во-

енного самолета, целого взвода Автоматчиков, и, разумеется, множества разного рода варианта Освободителя... Это чуть раньше случилось всемирного потопа, граждане, и чуть позже знаменитого Крушения нашего поезда...

Григорий видел себя будто в кино, в разделе военной хроники. Пробковый шлем, галифе цвета хаки, синие гольфы, высокие ботинки, а в голове только строчки и мелодия патриотической песни — СЛАВЬСЯ. Мы несли на себе такую тяжесть, по сравнению с которой любой груз — семечки. Спотыкались верблюды, падали люди и блевали кровью, а сверху на нас смотрели горные козлы, совершенно спокойно, как будто и непонятно, то ли осуждали Освободителей, то ли не одобряли. А, может, им вообще до фени было, кто мы такие, козлам-то. Сколько, помню, мы скорым маршем проходили пустыни, степи, леса густые, как шерсть любимой, голые, как задница дорогого командира, равнины упругие, словно груди боевой подруги, холмы. Грелись, рубя дрова, похмеляясь спиртом. Ели ворон, галок, ящериц, коренья и прочую растущую, летающую и ползающую дрянь. В мозгах, правда, иногда какая-нибудь ерунда проскакивала насчет непогашенных облигаций, испорченной канализации, просроченных проездных, кинобилетов на вечерний сеанс сексом и прочей

житейской канители, до которой нам было тогда как до Китая. Снилось же по ночам, когда усталые падали, не раздеваясь, само собой, очень часто грязное белье в рундуках. Старшина Хазов, который ругал нас за это дело, шагал рядом, был строг, но справедлив. Усат, высок, суров, крепкоголов, но и пошутиТЬ любитель, а также ответить практически на любой вопрос личного состава, даже такой, который на засыпку, почти без промедления отвечал, понимая, что оно смерти подобно в условиях горных районов, окончательно не освобожденных. Я зачем-то собирал камни редкой породы и укладывал в свой рюкзак, и так тяжелый. «Вот придуорок, бля» — смеялись солдаты, обветренные и запыленные. Завшивевшие, изможденные. «Тут и так еле-еле идешь, чуть с ног не падаешь, вот-вот рухнешь, кажется — и не встанешь больше и попросишь только, чтоб пристрелили из миссердия, ибо не хочется очень попадать в лапы партизанам, которые сперва отрезают уши, а потом голову, а этот мудак еще дополнительный груз тянет, словно ёбнутый или в жопу ранетый верблюд, что отстал от каравана, или впрямь наступили обещанные времена сбора каменьев во имя предстоящих соревнований по попаданию прямо в лоб, люб нам объект мишени, или вовсе нет». «С цыганами, вот с кем, мужики, связываться не советовал бы», — говорит нам капитан Киров

Сергей Мироныч, сидя у костра на бивуаке, стругая что-то экзотическое из твердого клена своим тесаком страшным, доставшимся ему в трофей во время войны с Турцией. Он гулена был большой и фаталист, каких мало, а так человек очень хороший, и редко бил солдата по зубам, чаще сапогом под зад. Мы его уважали и не раз выбирали депутатом от нашего военного округа назло врагам.

«Помню, я, да лейтенант один, Клопов Сашка, который потом погиб под Варной от сабли янычара, только-только после освобождения Казани от ига хана Кучума, прибыли в наш родной город Углич, что на Белом море, ничем, кстати, не примечательный, кроме как фактом произошедшего во времена оно злодейского убийства малолетнего царевича, и натурально в один голос решили выпить за победу над неверными в местном ресторане, как щас помню, «Борис Годунов», воздвигнутом там в честь торжества справедливости, но к моменту нашего прибытия уже пришедшем несколько в упадок от недосмотра. Ну, вид у нас, само собой, боевой, со всеми признаками особой части. Начищенные до блеска сапоги, сияющие шлемы, кителя нараспашку, а на груди у каждого по новенькому ордену на брата за храбрость, также нашивки на рукавах, свидетельствующие о ранениях... Казалось бы, уважать должно местное

пришибленное вековой отсталостью население, потому что мы ж, герои то есть, для всеобщего блага старались, не так ли, ребята? А что вышло, мужики? Конфуз, хуже, чем у французов после взятия Москвы. Стоим, значит, на стоянке такси, поджидаем тачку. А в этом городишке заштатном их всего, между прочим, три штуки. Все нет и нет машины, падла. Нервы ж у нас, сами понимаете, на пределе добра и зла. Напряг страшный, а тут еще жажда мучит, выпить хотим оба, помираем просто. Вдруг подходят как раз пять цыганок с базара, где они, курвы, гадают без зазрения совести, и одновременно, как закон подлости, мотор подруливает. Ну, наша очередь, земляки, вы же понимаете, и мы, еще пахнущие порохом ружей и пушек Кучума, идем в атаку. Что за баталия получилась, братва, кино и только. Цыгане, тарабаря по-своему, вставляя кое-какие словечки не для женских ушей из нашего отечественного жаргона, так что вяли уши даже у бывалых воинов, бросаются наперерез, дряни, словно под танк, увешанные сумками, как гранатами, без задней мысли и малейшего проблеска ума, закопченного дымом табора. Что делать нам-то, прикиньте, хлопцы. «Качумайте, кочевники», — кричу им; «Обнаглели, что ли?» — спрашиваю, у которого еще в ушах свист стрел и дикие крики татар. Причем горло пересохло совсем, и хочется срочно

пива похолодней, а потом вина сверху покрепче. Думаете, отступили сволочи? Куда там! Напротив, обматерили нас, обложили хуями увесистыми сверху донизу нерусскими, черти. Как сейчас перед глазами цветастые юбки их, наглые зенки, и слышу горластую речь этих проституток. Опозорили перед мирным населением, нас, ребята, начисто, вот что самое главное. Те думают: вот так освободители. Перед бабьем пасуют. А что нам делать, мать чесная? Не драться ж с ними, не пускать в ход оружия, позоря честь мундира. Пришлось отступить на исходную позицию, плюнуть на все, забыть, где находишься, и пешком сгоряча пилить несколько верст под нестерпимым солнцем, страдая сильно от жажды. Ну, да нам не привыкать, верно? К походам-то, я имею в виду, и марш-броскам. Только все равно обидно по сей день, что темные гадальщицы не понимают сути происходящих в стране перемен, Перестройку и все такое прочее, и готовы забить при любом случае удобном на чрезвычайно интересные события по всему фронту, а также политику партии и правительства, и даже действия Красной армии по укреплению границ, расширению территорий, строительства крепостей — этого красивого ожерелья России — усмирения воинственных, а местами прямо озверелых соседей, хазар, например, скифов и прочих шведов. По ушам бы им надавать

надо было, отсталым, да сослать как при Сталине куда-нибудь к эскимосам...»

Так говорил наш капитан любимый и человечный, славный, весь в орденах и медалях, который, ветеран, помнил еще Батыя, а мы сидели на корточках у костра, пили крутой кипяток, чуяли небритыми щеками холодок штыка и думали, вернее, мечтали, о Франции: ведь это ее, матушку нашу, предстояло нам освобождать в скором времени, пробиваясь туда через потный перешеек с боями, а потом и захваченный турками, как залапанная, грязная, воюющая баба, блядский Алжир. Повсюду цвел, ёб его мать, инжир, пах урюк, пели китайские соловьи, что зимовали здесь во всю, славя вдали от родины пороха культурную революцию, кричали мальчишки, и каждый крик их был как нож в горло контрреволюции, женщины в черных платках и чадрах по всему белому, не знающему солнца телу называли нас открыто империалистами, а мы терпели, что ж делать, поминая лишь со злобой эту политическую проститутку, Броз Тито югославского, муллы же прочили о скором явлении в Иране имама Хомейни, легкомысленные матросы транжирили деньги на ром и шлюх, а мы, пехота, пилили вдоль берега. Пахло персиками печеными и, к большому сожалению всей роты, тухлыми яйцами несло с судна, которое не разгружалось

уже несколько суток, ибо грузчики, суки, забили в козла назло врагам и в гробу видели американских капиталистов. Дух вольности, чего там, свежим ветерком гулял по пирсу с легкой тросточкой с приветом с того света. Пахло соусом, и мечталось грязным телом о сотке водки после бани с березовым веничком. Короче, недалече было до тропиков, черт возьми! Где с некоторых пор доминировала непростая, но как бы сложенная пополам тень Британца с большими бакенбардами, а вспоминался, как назло, наш простецкий город Рязань, который хан Мамай сжигал до пятнадцати раз и прозвал в итоге — Злой город. «Нет, они все-таки нигилисты, — все не мог успокоиться, шагая рядом с нами, капитан Мироныч, — цыгане эти, мужики, я имею в виду», — и мы как сквозь сон, зной и пепел с небес слышали его увесистые матюги и пудовые проклятья на головы, покрытые цветастыми платками. А поздно вечером на привале, вдоволь напившись кипятку с сухарями, засыпали наконец под шум прибоя вплоть до самого подъема.

«Помнишь ли время? — говорил Никифор соседу этажом ниже, который после первого стакана как-то расслабился и поник, а бедный Гриша, тем временем, вообще валялся возле палисадника, сбитый с ног мощной струей, что пустил в него с брандспойта безжалостный тесть, — время, ког-

да все кружилось и звенело?» Сосед кивал, чуть не ударяясь головой о грубо сработанный стол, покрытый вытертой kleenкой, а я видел перед собой почему-то корыто и множество жрущих свиней. «Летчики совершили подвиги, камнетесы ставили рекорды, а как играл на баяне друг наш Гриша, который, заметь, постоянно брился наголо, такая была у человека привычка». «Не то теперь, не то, Никифор, — хрюкал зачем-то сосед и парализованным боком прислонялся к теплой стенке, — нет той строгости и порядочности в отношениях, а песни, разве это песни, а водка... да чего там...» «Я, как припрут, слушай, невмоготу станет, — говорил ветеран, — ну, совсем жить не хочется, такой повсюду бардак, и нет настоящего хозяина, бегу, друг, из дома и спускаюсь в метро на станцию «Площадь революции», только там отхожу малость, дышу тем воздухом, ты понимаешь, любуюсь на статуи, какие лица! как много на них чего написано! и мужество, и преданность, и готовность отдать себя всего во имя Родины!»

Ветеран разволновался, стал ходить по кухне, мерить ее шагами и думать зачем-то о животных, которых немало поставил на ноги или, наоборот, зарезал за свою жизнь. Их внутренности: почки, кишечки, печеньки, а также кровяная масса, в изобилии лезли ему в голову, что и так кружилась от ал-

коголя. «Времена какие были трудные-то, но веселые, ты слышишь меня, или нет? — будоражил он сонного соседа, который как-то пригрелся в уголку и мало чего, откровенно говоря, соображал, — помнишь, как можно было напиться и нажраться от пузза всего на рубль, а в каждом ларечке — копытчик, портвейн, чешское пиво и бутербродики с черной или красной икрой». Потом задумались оба, но практически в одну точку, все про скотину у них что-то на ум шло сегодня в такой милый День освобождения. Ветеринар видел себя с длинным ножом, ковыряясь в районе сердца огромного быка, прямо как на ВДНХ — этом оазисе коммунизма в наши дни среди пустыни глупости, беспорядка, неуважения к старшим и идеалам нашим. Бык почти не трепыхался, только дышал тяжело и смотрел на него обреченно печальными большими глазами. За окном на высокой пихте были прибиты чучела разных птиц, убитых Никифором. Все большие, с глазами бусинками, прямо в музей краеведения не ходи, право. Детишки очень любили, а деда, который все это для них сделал с целью воспитания, называли по своему — Кефир. Он не сердился, еще не хватало, но если застукает, бывало, кого из сорванцов у себя, например, на огороде, рвущих клубнику, скажем, или молоденькие огурчики, был строг, но справедлив, родителям ничего не говорил, но был так, что у пацанов синели пят-

ки, а все молодое тело покрывалось пятнами. Чтоб знали и были злыми на будущее. Что до соседа, то тот видел только огромное стадо свиней, которое паслось на берегу большой реки, Волги, что ли... Он делал Никифору, который был посообразительней, какие-то жесты руками, подавая условные знаки, а тот не понимал и сердился, пока не стал подозревать и всегда ненадежного человека в измене. Прошло время. Бык давно сдох, сердце его съели в жареной крови, яйцы ж выкинули собакам, что были сильнее и свирепели при виде красного, а в свиней, как и стоит в Евангелии, вселились бесы. Кавалерист Григорий лежал в луже и не плакал, не шептал даже проклятий своему тестю, потому что, наверное, умер, а сам Никифор все говорил и говорил, славил Партию, порядок, старые устои, комсомол и пионерию, которым всем ставил в пример себя. Он не лицемерил, честное слово, и был всегда готов совершать любой подвиг, лишь бы за дело. А если на то пошло, он давно уже присматривается к этому соседу и теперь отчетливо видит при белом свете, что товарищ этот ненадежный больно. Он кривляется и насмехается, передергивается, передразнивает, задирается. Ему слово, а он тебе пять, и все как-то некстати, не про то. Не наш, в общем, человек, решил раз и навсегда отчаянный Никифор, который больше всего в жизни не любил врагов народа и вредителей. Вот в былые времена,

когда граница была на замке, и мы не видели этих заграничных гадов, от которых вся зараза... Короче, схватил он топор под лавкой и нанес первый сокрушительный удар по голове этого гада, хуже змея. Тот и не ухнул, только на пол рухнул и облился слегка кровью, но Никиша его и там достал, вспомнив молодость и лихую рубку, например, под Харьковом. И добил гада, чтоб не мучился, помня нашу гуманность всем известную, вот враги на это и надеются. Так точно. Изрубил его всего на части и хотел выбросить на помойку, имея под этим в виду свалку истории, да жалко стало в последний самый момент, дрогнул почему-то, все ж сколько с ним было выпито всего, это ж море... Сел он и задумался, прокручивая в голове прошлое, для чего жил, на кого работал, сколько от них получал, как прожигал жизнь в ресторанах, кутил с цыганами, пил шампанское из туфелек красивых дам, рекомендовал себя только с лучшей стороны, кутил с полковниками или чинами КГБ... Вот и выходит, что у всех нас совесть не очень, подмоченная, одним словом, а эти сволочи, подонки, которые к нам подосланы оттуда... В общем, Никифор все теперь на себя перевернулся, будто хотел подтянуть нашу историю за уши. Он и такой, и сякий, и животных мучил и детям был не друг. Один якобы у него теперь выход, как у чесного партийца, преданного делу Ленина-Сталина. Хотел вставить в рот дву-

стволку, но она не лезла, пробовал повеситься — веревка была гнилая и рвалась, кинуться вниз, да не высоко было, не разбивался он весь насмерть. Уже стал народ собираться поглазеть на чудачества выжившего из ума, когда он решился наконец и включил на кухне полный газ.

В среду пришел ко мне Троцкий, похожий слегка на певца Трошина, который выпил два стакана «Московской» и сказал почему-то шепотом: «Ты знаешь, тебя на днях шлепнут». Это было уже после знаменитого события, когда сам Троцкий погорел ярким пламенем, поэтому я был весь внимание, словно это сообщение была Благая весть под тутовым кустом освобождения. У меня на куртке и так имелось две дырки — одна от пули, другая — кинжалная. Жизнь наша разворачивалась стремительно, развивалась прямо по касательной, зашибалась набок и упиралась чересчур в небо, как невостребованная в горных высях вавилонская башня в чью-то непотребную требуху. Шелуха и потребленное поколение паршивых котиков и вшивых койотов, завсегдатаев прерий и вендиспансеров, а также драных кошек, чьи воротники, споротые на всех помойках, как приглашенные на пир скинутых Перунов гладиаторы, устроили свои собственные поминки в компании близких им шлюх, которые вышивают узоры в дозорах вплоть до розовой зари.

Алел восход на пороге чертога огненной колесницы Китая, а наместник нашего селения Хам, как какой-то тиран, выломал себе кол из забора, на котором забористая брань мешалась с детскими шалостями. Кирюха, весь в говне и соплях, лежал на пятачке возле сельсовета с выколотыми глазами, распоротым пахом, где копошились вороны и галки, отрубленными ногами-руками, вырванным на всякий случай языком, а половые органы его валялись чуть в сторонке, терзаемые собаками и кошками. Так его наши мужики уговорили, прежде чем податься в город, чтоб не сдохнуть тут в деревне с голоду. Бородатая старушка, слегка поддатая по слухаю праздника, сидела на крыше сарая с бомбой в руках и смеялась до слез. «Как шаражну щас!» Орала и разевала рот, пугая нас беззубой пастью. Ухмылялся блаженно глухонемой и бил по голове цирюльника Ивана, который щекотал ему пятки, а мыслил себя Чернышевским во время гражданской казни. «Дождутся они у меня», — бормотал про себя бессловесный. «Ты понял меня, ай нет?» — опять интересовался Троцкий, уже в жопу пьяный, будто шпион немецкий или японский. Когда кавалерист Григорий, лысый как чурбан, который вечно возле меня обретался и все более набирался крови, теплой кровушки вкусной, по мере того, как повесть летела, будтопущенный под откос партизанами поезд, пояснил

ему по-русски, по-военному то есть, с советским акцентом причем, коротко и ясно. Чуть позже я гнал во всю на велосипеде со спущенными шинами, так как Птица так и не донесла тот раз до дома насос, взятый у бородатой дамы, который отнял у нее большой Глухонемой, который дует не в нос, а в насос, и от этого у нас вечно веют ветры и летают ящуры. На раме я вез эту распутницу Птицу как дар многорукому Шиве. Слышал звон шпор кавалериста Гриши, что скакал где-то рядом, по кустам орешника и олешника на старой кляче, в кустах же совокуплялись после маевки трудящиеся массы.

Пахло самогоном, водкой и культурным время-препровождением населения. Рядом на полянке, куда мы прибыли, работал буфет, неслись песни про Кузбасс, Краснодон, Техас и Туркестан, лился рекой розовый портвейн, а люди сидели кучками по привязанностям, вели беседы по интересам, наученные мудрости всем ходом предшествующих событий. Пили за партию, Сталина, столицу, устав, новый караван-сарай, который, как гласит турецкая мудрость, есть не что иное, как мир во всем мире. Когда напивались прилично, начинали спорить, делить земной шар на части, рвать его, терзать всячески до дыр в глобусе, хватать себе земли побольше, материться, обзвываться всячески, черти и козлы, а потом драться долго

и с остервенением стенка на стенку и, угомонившись наконец, сидеть как побитые и припомнить славные события до и после революции. Опять пели про любовь, «Куплю себе тройку залетных», «Распрягайте, хлопцы, коней», «Заводи трактора», «Броня крепка», «Люблю тебя, жизнь»... И заплатные рожи их, просветленные от радостного плача, хотели то щей покислей, то посланье малины. Или ухи посвежее.

Птица, конечно же, не выдержала гонки на перегонки с ветром, что гулял благодаря нашему родному великому Глухонемому по развалинам цирка, в центре которого дырка навроде черного квадрата, куда вся наша земля однажды как ухнула. Она упала с велосипеда на траву, а я, друзья, оказался сверху, но не воспользовался ситуацией, врать не буду, так как знал определенно, что у нее там менструация, а это ведь все равно что войти в такой день красного календаря в музей боевой славы или самой революции и наплевать на все экспонаты. Обидно было, досадно и даже больно, потому что у них у всех там у пернатых глаза выколоны. Поздним вечером грязные и уставшие мы сидели у Хама, который был только что после бани, свеженький, приятно пахнущий, в бухарском халате, важный такой, вальяжный, с бородой, плечистый, речистый, мясистый, в турецких туфлях с за-

гнутыми мысами и поминал добрым словом беднягу Сима, который не выдержал напряга и сошел с ума накануне торжества. Хоронили очень Важную особу, к которой Птица переправила все-таки очень важное сообщение в форме доноса о глупости этого прохвоста Хама, да, как оказалось, слишком поздно. Так и жить ей теперь в клетке, щебетать горько в прокуренной комнате и требовать себе черствого хлеба. Троцкий запьянял, между делом, капитально, обнаглел совершенно, почернел весь рожей и развалился на полу у самых ног Хама в страшной маске нового Чингисхана, подстелив под мятый бок старую фуфайку.

Птаха, предчувствуя недоброе, ревнивась как хотела и щекотала автору этих строк пятки, а он смеялся только, начитавшись на ночь детективов и смешного чтива. Он был такой солидный мэн, в шляпе и длинном дымчатом плаще, тех молодчиков, которые говорят вам потом: «Пардон, мы расстреляли вас по ошибке». Я имею в виду, разумеется, старика Хама. И наконец, под самый занавес своего сочинения, я вырвался из рук захватчиков, прополз с невероятной опасностью для жизни в виду мин и рогаток по всей комнате на животе, заглянул в шкаф, вспомнил про штрафную, что стояла в заначке, опрокинул бокал, не думая, врезал кому-то по роже и только

после этого, малость осмелев, посадил Птицу, дуреху эту, на колени Хаму, влил в нее целый стакан старки, запрокинув голову, расстегнул кофточку, выпрастал наружу все сиськи, ослабил остальную упряжку, злопыхнул папирской «Волна», задернул черную штору... Наступала зима... Сразу стало очень темно, тесно, а представилась Грузия, где я ни разу не был. «А надо бы съездить, повидать перед смертью», — пыхтел возле печки Троцкий. На столе, покрытом красной скатертью, коньяк с лимонами и шпалер с маслятами. Бухарик, наш любимец, разошелся не на шутку и после пяти рюмок украсил елку презервативами, не думая о том ни грамма, что в стране туго с резиной. А после был угар НЭПа — все танцевали как хотели, прыгали до потолка, красили усы самому Хаму, ради хай живе КГБ! дамы писали в потолок и выставляли напоказ мощные бёдры, вихляли задами особы мужского пола, целовали всех подряд, кричали «Виват, Франция!» и выходили блевать на крыльце, где пахло укропом, костром и сплененным вчера кактусом, который не пришелся по вкусу привереднику Хаму. На его месте посадили выписанный от Кара-Дага обширный баобаб, как защиту от врагов и диверсантов. И уже больше никто не решался водить на этом прежде священном месте хоровода. На следующий день, ближе к полдню, Сима отвезли в дурдом в состоянии

аффекта. Павел, который еще недавно читал проповедь вольным птицам, утешал рыб и русалок, выглядел как покойник за три дня до похорон — сидел тихо, не бузил, не призывал к восстаниям. Грустила скорая — такие люди от нас уходят, что со страной-то будет? Все вспоминали почему-то Хама и видели в его роли нового Чингисхана.

А когда наступил вечер, зажглись свечи, и все угомонилось, он явился, не затруднившись ожиданием, в мундире генерал-полковника (из скромности, шептали люди, мог бы и маршала себе присвоить, раз такое дело), весь в наколках, как положено, серпах-молотах. Он оперся о Белый рояль, будто с детства готовил себя в вожди, импозантный, дородный, пузатый, и прохрипел, скорее, чем промолвил, или прорычал даже, кто ж сейчас припомнит с точностью как в аптеке: «Что, съели, сукки, предупреждал же вас, сволочи». Никто слова не промолвил. Троцкий один пробурчал нечто, как бы недовольный чем, но никто его не поддержал, поникнув головами, сидели и не пикали, Птица одна лишь пукнула и улетела в закрытую форточку в другое царство пить свое особое лекарство от зазнайства. Потом была долгая зима, все мы промерзли, намучались, наплакались, но наступил март, пришла долгожданная оттепель. Можно было грезить о Японии и даже Тур-

ции, играть на саксофоне в открытую, говорить такое, что душа уходила в пятки, и мерить перед старым зеркалом новые трусы в клеточку. Ждать прилета из теплых краев хитрюги Птицы, лакомиться осетриной, пусть второй свежести, ломать копья на турнирах с открытым забралом и не бояться, что тебя тотчас же заберут куда надо. Но никак не бегать на лыжах в охотку в Норвегии, пить сотку за соткой в Пекине, стрелять по галкам, которых развел сам наглый Хам... Можно было также сколько угодно биться головой об лед. Мы усвоили все уроки истории, похоронили многие авторитеты и наблюдали очень пристально за караван-сараем, который построил сам Хам, чем очень гордился, и где, мы догадывались, копилась годами всякая нечисть и также соблазны, которые впоследствии разлетались, как ласточки перед дождем. Прилетела, наконец, Птица и была ласкова со мной, как девочка, и я перед тем, как в меня опять выстрелили, настрочил ей признание, но опоздал вручить: эх, проучить бы меня надо за это, да некому, с тех пор, как Хам откинул копыта. Так за суетой мирских открытий забываем кинуть пару строк в голубой почтовый ящик всяческих бескрылых отправлений.

Олег Разумовский

Джу-Джу

рассказы, повесть

Художник *A. Тотибадзе*

Редактор *A. Хемлин*

Корректор *K. Баюн*

Верстка *A. Дирижаблев*

Издательство «Уроки русского»:

zobern@mail.ru

Налоговая льгота — общероссийский

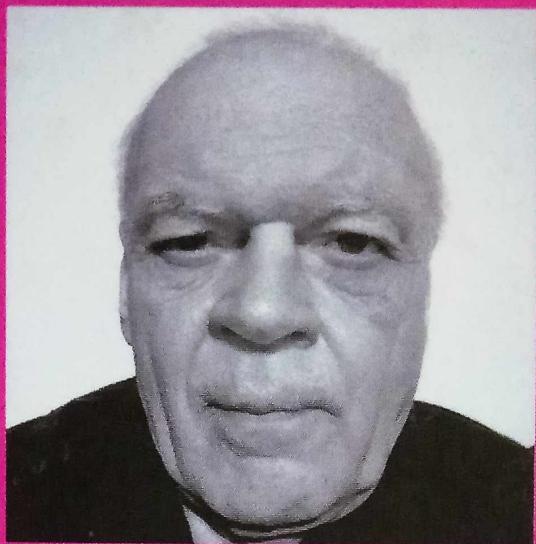
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;

953000 — книги, брошюры

Формат 84×108¹/₃₂

Печ. л. 8,5.

Гарнитура OfficinaSerifC



Эти рассказы и повесть – не только о веселой жизни в городе Смоленске и его окрестностях, но и почти обо всей российской провинции. «Джу-Джу» – первая тиражная книга Олега Разумовского.

Автор родился и живет в Смоленске. Печатался в журналах «Третья модернизация» (Рига), «Митин журнал» (Ленинград), «Черновик» (Нью-Йорк) и др.

СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

ДЖ-ДЖУ

РАЗМОВСКИЙ

ОЛЕГ